

Амаяк Тер-Абрамянц

МНОГО ЛИ НАМ НАДО ВОЗДУХА?..

Оглавление

Бремя первых.....	3
Моя ли это земля?	4
Царицыно	6
Где твоя хижина, дядя Том?.....	7
Знак.....	11
Не ходите, дети, в лес.....	13
Последний	17
«Жди меня, и я...»	20
Этюд в розовых тонах.....	22
Церковь	23
Как это начиналось	27
Мы поем	29
Мгновение	36
Одуванчики улетят.....	38
Ласточкино Гнездо	40
Слава труду!.....	43
Три родины.....	47
Выполняя приказ	50
Валя Муга.....	55
Стоп-кадр	58
Витькин коммунизм	59
Дрожь	67
Астма	72
Берег	73
Пора идти в кино	75
«Платформа Ильича»	80
Возлюби Ленина, как.....	86
Харон	88
Нашенские	93
Много ли нам надо воздуха?..	104
Черепки	119

На карантине	121
Капитан Клятов.....	122
Маменькин сынок	133
Стукач	137
Соучастники.....	145
Свиньи в винограднике.....	148
Шаламов	150

Бремя первых

Когда рассматриваешь фотографии двух землян — первого человека, вырвавшегося в космос, и первого человека, ступившего на Луну, — удивляешься их необыкновенной схожести: они будто родные братья — круглоголовые, с внимательными глазами, в которых спокойствие и уверенность, и, конечно, улыбчивость, которую с детства отмечали у Нила («рот до ушей») и улыбка Гагарина.

Разница в том, что Гагарину было 27, когда он задорно крикнул свое «поехали», а Армстронгу аж 39, когда он произнес «маленький шаг человека и гигантский шаг человечества».

Нил к своей победе прошел все ступени летчика — десятки боевых вылетов в Корею, испытания самых современных самолетов, не раз рисковал, и жизнь ему спасала лишь мгновенная реакция. Эту мгновенную реакцию продемонстрировал и Гагарин, когда при спуске его капсула смертельно закрутилась.

И слава, обрушившаяся на них, была сравнима: приходилось за 40 дней посетить два десятка стран, лишь в начале, и бесконечно пожимать руки людям вокруг — сотням людей в день, тысячам, — и улыбаться, улыбаться, улыбаться. Да ведь от этого рука отвалится! Люди с иной психикой, наверное, могли бы стать мизантропами.

Через два года у Нила наступило что-то вроде депрессии, ему захотелось быть обычным человеком, но слава не давала: где бы он ни появлялся — восторженные крики, рукопожатия. Миф вытеснял обычного человека, мешал нормальному общению и жизни. В результате Армстронг ушел от людей, купил ферму на Среднем Западе, обнес ее колючей проволокой, стал выращивать бычков и какие-то злаки. Была еще одна причина его печали: он достиг высшей возможной точки как пилот и астронавт. Дальше шагать было некуда, а писать мемуары он, видимо, был не мастер, да на этом поле все сделали уже вездесущие журналисты.

У Гагарина же после всей кругосветной гонки славы была мечта снова подняться в Космос, у него еще было куда шагать, но Политбюро запретило ему летать, превратив в национальное достояние, музейную вещь. Но люди не успели его утомить.

Мой друг, отец которого работал в те годы швейцаром в «Национале», рассказывал. Однажды у них появился Гагарин и, конечно, масса народа с ним. Сослуживцы швейцара (другие швейцары, повара и прочая обслуга) страстно захотели получить автограф, а их было целых 25! Они понимали, насколько это дело может быть надоело герою, и снова отрывать его от своей жизни стеснялись. Но отец моего друга был самым

представительным, и ему вручили все открытки: попробуй, дядя Володя, авось тебе не откажет! Улучшив момент, дядя Володя подошел к Юрию Алексеевичу и крайне осторожно, с извинениями, попросил космонавта дать автограф. «Вы уж извините, — сказал он, протягивая открытки, — здесь целых двадцать пять!»

«Папаша, да хоть сто! — весело воскликнул Гагарин. — Если это людям радость приносит!»

Моя ли это земля?

Крестили меня тайно, в Луганске, тайно вывезя из незабвенного Таллина, где я родился и провел дошкольное детство, лет в пять, под именем Алексея, мама моя — урожденная Корниенко, украинка из далекого хутора в Новороссии Устиновка. 10 лет моему отцу Украина была прибежищем от Великой Беды маленького армянского народа. У меня могла быть сводная сестра еврейка, его дочка от первой жены, луганской еврейки. Они расстались, отец уехал в Ленинград, где учился, стал большим хирургом, прошедшим Блокаду от первого до последнего дня.

Я проехал на машине дяди и Луганскую область с быстрым и опасным Донцом, в котором купался, и Донецкую область с ее терриконами — к синему морю. Когда мы выходили по необходимости (август был, пшеница скошена), то на подошвы налипал антрацитовый чернозем, такой жирный, что по возвращении каждый раз приходилось счищать его о бортик старенькой, но крепкой еще и славной «Победы».

Дебальцево, Миллерово и другие — как обыденно и скучно звучали тогда для меня эти названия... И вместо «Г» — «Х», и вместо «Что» — «Шо». В Луганске я учился в третьем классе, пока мы не переехали в Москву.

В саду у тетушки росло огромное абрикосовое дерево. Оно странно цвело: год стояло черное, будто обгоревшее, умершее, и взрослые уже говорили, что пора срубить, вот подождем до лета, но следующим летом оно внезапно расцветало, да как! — Вспыхивало! Ветки ломились от солнечных оранжево-пахучих шаров, которые засыпали все пространство под деревом, и тетушка просила нас, мальчишек, собрать хоть часть урожая этих красно-желтых, кое-где уже треснувших и переспелых, с яблоко величиной, плодов (самой ей уже было наклоняться тяжело). Мы объедались этой нежнейшей и сладостной ароматностью на целый год, набирали тетушке Сирануш тазы для варенья...

Город казался огромным, с разбросанными по мягким холмам белыми, крытыми красной черепицей, хатками, утонувшими в зеленых садах и огородах, с оконцами, закрывающимися на ночь ставнями и на сторожкие замки... с булыжными улочками, лениво в жаркий полдень застывающими в жидкой тени высоких тополей, артезианскими колодцами на перекрестках... Город, желтые покосы с антрацитовым черноземом, внезапные пески с молодыми соснами на подъезде к Донцу, голубое небо с необычно мягкими розовыми вечерами, исторгающими из груди какое-то особенное примирение и желание затянуться, запеть что-то мягкое, долгое, доброе... острые конусы огромных терриконов по пути к синему морю... Казалось в таком городе никогда больше не быть войне, кроме той, дальней, самой страшной в истории, когда через него прошли, почти ничего не разрушив, и немцы, и венгры, и румыны, и бедолаги итальянцы...

Но «Острая могила», все чаще звучащая сейчас в военных сводках... Там остались лежать незнакомые, но могущие мне быть родственниками люди — первая жена отца с десяти или двенадцатилетней дочкой... Я о них узнал сравнительно недавно (не хотели взрослые печалить мою память, хотя сами бывали там не раз). Доживи до моих лет, моя сводная сестра стала бы уже, наверное, глубокой старушкой... Они не успели эвакуироваться, и молодую мать с маленькой десяти или двенадцатилетней дочкой немцы и полицаи увезли на «Острую могилу» — то ли повесили, то ли расстреляли за то, что они были евреями...

А я, еще далеко не ведавший этого третьеклассник, вытягивал из скрипочки ноты, завидуя ясности дня и кококанью вольных до срока кур. Я держал маме слово играть на скрипке час, играл, потому что любил маму, не признаваясь, что скрипка меня мучит.

Годы... десятилетия, полвека... города...

Но из далекого детства тянутся нити звуков до сих пор:

Реве да стогне Днипр широкий

Сердитый витер завива

Додолу верби гне висо-оки,

Горами хвилю пидийма...

Нет, не чужая мне это земля!

Царицыно

Мохнатый, как тайга, старинный парк окружал озеро. Сын жмурился от яркого солнца и неумело греб, то погружая весла слишком глубоко, то царапая воду, впрочем, радуясь каждому удачному гребку. На веслах он сидел впервые в жизни.

— Правее греби, правее, — командовал отец — от того дерева, что покосилось.

Дерево стояло на мысу, у самой воды, вероятно, ему подмыло корни. Оно явно так стояло уже давно, возможно, годы, но все ж лучше от греха подальше, и отец немного беспокоился. А лодка, как ни старался сын, снова и снова норовила идти под опасное дерево.

Сын изменился за лето — в нем стала проявляться подростковая угловатость: кость была тонкая, детская, но кисти и стопы были крупные, будто росли с опережением. Он до боли любил его, а сын менялся и менялся каждый год, каждый месяц, и ему до боли было жаль тех, навсегда ушедших, его, совсем непохожих на нынешнее, обличий, о которых лишь фотографии оставляли невнятные напоминания.

Мутно-зеленая вода отливала блеском мелких волн, зеленые кроны со всех сторон окружали синее яркое небо с редкими облаками. И среди всей этой черно-зеленой массы желтела одна единственная желтая прядка — первое касание осени.

— Ну, заканчиваются твои каникулы, — сказал отец, — в школу хочешь?

— Хочу! — неожиданно улыбнулся сын. — Очень хочу!

— Да-а-а? — удивился отец. — Неужто по учебе соскучился?

— Если вправду, я с друзьями хочу встретиться, — в глазах сына веселилось небо, летел мяч на спортивной площадке.

— Ах, вот оно что! — отцу было немного обидно, что все чаще сыну интереснее не с ним, а с друзьями.

После лодочной прогулки они, усевшись у пруда на лавочке, ели печеную картошку с солью и черным хлебом, запивая водой из бутылки.

Сын нахваливал картошку, и утконосый козырек бейсбольной шапочки деловито кивал в такт жевательным движениям. За лето он неплохо загорел, и на светло-коричневой атласной коже золотился пушок.

«Боже мой, какой же он лопух! — с удивлением думал отец. — И как он будет без меня?..»

Среди зелени, на том берегу, блестела луковка церкви, как случайно застывшая среди ветвей капля когда-то брызнувшего на Землю Солнца.

Отец смотрел на нее и думал, доживет ли до следующего лета и смогут ли они еще так с сыном поплавать, а потом погулять? Конечно, болезнь считалась неизлечимой, но хотелось надеяться, хотелось жить, пусть и сознательно обманывая себя: врачи, мол, тоже ошибаются. Он заставил себя не думать о будущем, мысленно произнес: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного!..» Он произнес Иисусову молитву второй раз, третий, четвертый, и на душе стало спокойно и пусто, как в самолете над ватной равниной облаков.

2001 г.

Где твоя хижина, дядя Том?

В раннем моем незамутненном детстве о неграх мы узнавали из газет и книжек. Первого негра я увидел лет в 11, в Москве, и это событие было таким, как если бы сейчас я увидел инопланетянина. И первый вопрос о них был: «Па, а как они друг друга отличают? Они же все черные!» В газетах много писали об угнетении негров в Америке, как их линчуют и оскорбляют, и о том, как наш советский народ сопереживает их тяжелой судьбе. Газеты писали, что там, в злой Америке, расизм, а вот у нас его совершенно нет и не может быть, ибо мы строим коммунизм, в котором все расы и нации будут равны, даже помню плакаты того времени: три улыбающихся лика под красным знаменем — белый человек славянского типа, негр с толстыми губами и желтый раскосый под соломенной конусовидной шляпой — и называлось это могучим и красивым словом — «интернационализм»! Мало того — негров у нас любили, сильно любили, и это было нетрудно, ибо более 90 процентов населения России чернокожих в глаза не видели — лишь иногда на экранах кинотеатров и телевизоров или на фото в черно-белом, в основном, варианте мелькали их лица. К тому же любить негров полагалось политически: секса, как известно, в СССР не было, зато была любовь «политическая». Но это все сочувствие абстрактное.

Зато помню книжку своего детства «Хижина дяди Тома» с картинкой умирающей белой девочки в постели и скорбного седого негра, стоящего рядом. Вот через эту книгу, через картинку, негров и в самом деле становилось жалко. Таким образом, литература превращала абстрактное «вообще» в конкретный образ, создавала личное отношение. Сами, конечно, в очередях бесконечных мучились, но на фоне того, что эти бедолаги терпели от Ку-Клукс-Клана, мы чувствовали себя просто счастливыми.

Однако скоро в Москве, Ленинграде и других крупных городах СССР встретить негра или негритянку на улицах стало явлением хоть и редким, но довольно обычным. И выглядели они отнюдь не забитыми или нищими: держались достойно, прямо, одевались вполне цивилизованно по западным меркам, а иногда экзотически и красиво — женщины, обернутые в цветные сари и с золотыми тонкими браслетами на запястьях. А если кто в классе говорил: «Вчера я в Москве с папой видел негра!» — то авторитет такого одноклассника на ближайший час было обеспечен, при этом почему-то всегда спрашивали: «живого?..» Если этот авторитет не перехватывал наш единственный отличник Виталья Вайсберг сообщением типа: «А у меня появилась серия марок „Животные Арктики“!» (сейчас трудно объяснить наш восторг к этим маленьким цветным наклейкам на конверты, страсть к их собиранию, в которой первенствовал Виталья — видимо, доставали родители, знаменитые на весь город врачи).

Даже у нас в Подольске недалеко от нашей девятиэтажки жил негр, которого знали все, каждое утро он проходил мимо нашего дома по пути на работу. У него была дочка, симпатичная мулатка лет десяти, которая носилась по району вместе с нашей детворой — играла в догонялки, качалась на качелях.

В перестройку и во время распада СССР количество темнокожих сынов Африки в городах значительно увеличилось. По большей части они приезжали в Россию учиться — это было дешевле, чем учеба на западе, где-нибудь в США или Франции. Снимали жилье они не только в Москве, но и в области. И вот у нас наступили девяностые годы. Все бросилось на приманку капитализма — повсюду вырастали торговые ларьки, торгующие круглосуточно пивом, подозрительного происхождения спиртным, презервативами и жвачкой. В быт россиян прочно входило такое понятие как наезд, рэкет...

Не забуду, как мой маленький сын впервые увидел негра. Было ему годика четыре, и я отправился с ним гулять через дорогу в парк Речного вокзала. Парк был довольно запущенный, дикий, на одном из перекрестков аллей находился старый безводный разрушающийся фонтан с сухими прошлогодними листьями на дне, в стиле сталинского лжеклассицизма. Рядом с ним стоял негр-художник с мольбертом, очевидно, студент находящегося недалеко Суриковского училища, выполняющий очередное художественное задание. Это был хорошо сложенный парень с курчавыми короткими волосами и внимательными темными глазами. Мы зашли со спины к нему справа, и тут мой малыш остановился и в изумлении, тихо ахнув, произнес: «Папа! Посмотри какой черный!!!» Негр оказался парнем с юмором и беззвучно

расхохотался, показывая белые свежие зубы. «Ну, Гоша, — пытался разъяснить я своему малышу, — дядя из Африки, а там много солнца и он загорел!» Парень улыбался — он был симпатичный и добрый.

В то время попрошайничество, обман, мошенничество приобретали формы самые разнообразные, самые невероятные, но чернокожий попрошайка мне встретился всего один раз. Впрочем, он вел себя вполне прилично и бедным не выглядел — в белоснежно белой куртке, светлой шапочке. Он отрекомендовался на чистейшем русском языке представителем некоего фонда гуманитарных и культурных инициатив, показывая какой-то великолепно оформленный бланк с гербами и печатями:

— Мы оказываем помощь научным и гуманитарным организациям и лицам: ученым, талантливым студентам и литераторам, не хотели бы вы... и т.д.

— Вы не представляете, как вам повезло, — ответил я, — я как раз такой бедный литератор, — и в подтверждение показал ему книжку члена Союза писателей Москвы. И мы, не сговариваясь, рассмеялись и разошлись.

В то время я совершал частые поездки из Москвы в Подольск и обратно. Путь лежал через Царицыно, где между станцией метро и железнодорожной платформой был большой пассажиропоток.

Станция Царицыно представляла собой настоящую криминальную клоаку. Непросто было пробраться сквозь тесноту ларьков, торгующих пивом, сухариками, пластиковыми членами, дешевыми яркими китайскими игрушками и прочей мелочью, занимающими и без того узкий проход к платформам.

Мало того, посреди этого прохода стоял импровизированный игровой столик, на котором дурили народ наперсточники. Наглость их была чудовищной: они зазывали открыто народ, хватали прохожих за рукава. Милиция же делала вид, что ничего не замечает. Власть бандитов на станции была практически безраздельной.

Однажды, возвращаясь в Подольск в дневное время, я наблюдал следующую сцену. Рослый крепкий мужик, обманутый наперсточниками, решил вывести их на чистую воду. Не найдя милиционера, уверенный в своих силах, правдолюб решил разобраться со шпаной самостоятельно и возвращался к их столику. От носа вниз свисала у него толстая красная нитка — кровь из разбитого носа. Незнакомые пожилые женщины пытались его удержать: «Куда вы идете, все бесполезно! Они вас изобьют!» — но он горел мстостью, и что такое эти мелкие шакалы в сравнении с ним, почти двухметровым крепким мужиком?.. А навстречу

ему уже выдвигалась целая свора хищников, в центре которой шагал весь сжатый в пружину парень со стрижкой ежиком. Глаза его были злобно сощурены, и он поигрывал кулаками, в одном из которых мелькал кастет: очевидно, в подобных мероприятиях ему приходилось бывать не раз и он прекрасно знал, куда и как бить. Я не стал досматривать, чем все кончилось, скорее всего ничем хорошим: подошла моя электричка и надо было спешить.

Однажды темным ноябрьским вечером я возвращался в Подольск. Час пик прошел, и народу было немного. Я вошел в залитый желтым светом вагон, спокойно уселся ближе к середине и стал тянуть пиво, глядя в окно, за которым шел милиционер с пацаненком лет шестнадцати, хулиганского вида, головная боль станционной милиции. На этот раз они о чем-то беседовали мирно, улыбались, очевидно, находя полное взаимопонимание.

Поезд тронулся, и через вагон торопливо прошел молодой негр лет тридцати в лыжной шапочке. В окнах, кроме отражений вагона, почти ничего не было видно, и я не спеша прихлебывал пиво, давая ему согреться во рту перед глотком. Приближалась следующая остановка, и тут мимо меня быстро прошли молодые негры — один, второй, третий: в тамбуре они остановились и к ним присоединился еще один их соотечественник из соседнего вагона — таким образом их оказалось там четверо или пятеро.

Динамик объявил остановку, поезд встал и дверь с шипеньем раскрылась. И тут через вагон в ту же сторону, куда шли негры, к тамбуру, топоча, пробежала шайка из пяти-шести подростков, а у выхода на платформу возникла, видимо, согласно плану гоп-стопщиков, такая же группа «арийцев», отрезая путь отступления. Но негры и не думали отступать или становиться беспомощными жертвами, чего наши «арийцы» никак не ожидали. Кроме того, африканцы были довольно взрослыми и крепкими ребятами. Расклад сил поменялся в точности наоборот, и они перешли в яростную и сокрушительную контратаку.

Сначала мимо меня промчалась вихрем наша гопота, за ними — разъяренные африканцы. Им удалось нагнать последнего, и тот, забившись в угол перед тамбуром, сжавшись в жалкий комоч, закрываясь ручками, растерявший вмиг все человеческое, пронзительно верещал, как заяц в волчьих челюстях: «Не я, не я это! Не я! Не я!!»

Не знаю, что меня заставило оказаться рядом, может быть, животный, понимающий до кишок ужас в этом вопле. Но в следующий момент я заметил в руках у круглоголового крепкого африканца короткое стальное лезвие. Но во мне была какая-то уверенность, что с этими

ребятами я смогу договориться, что это НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ, и я стал убеждать. «Ребята! Поймите — на вас же самих все повесят! Поймите», — и так далее. Они тяжело дышали, но нож исчез...

«А вот вы видели, что он мне сделал?» — повернул голову ко мне боком молодой парень в шапочке: под черной парусно опухшей щекой кожа лопнула на протяжении сантиметров пяти вдоль нижней челюсти и между ее краями вылезло красное мясо — такой удар можно было нанести лишь неожиданно, подло, по неподвижному человеку, когда шпана разговором отвлекает внимание, а их дружок преспокойно, будто от нечего делать, подходит сбоку, примеряется и что есть сил выбрасывает ногу, финт, которым он хвалился перед своими шакалями и теперь впервые показал его на практике.

Они отпустили его, даже не дав вслед пинка.

А электричка продолжала свой ход и, когда я допил пиво, приблизилась к Подольску. На станции я пересел в автобус и затем вышел на своей остановке, на площади вблизи громадного памятника великому и ужасному интернационалисту, и направился вглубь квартала к своему дому. Впереди меня оказались два подростка и, к моему удивлению, в одном из них я узнал «спасенного». Они весело переговаривались и хохотали, будто и не случилось ничего особенного, все забыв и ничему не научившись.

И стало ясно — завтра они снова выйдут на охоту.

Знак

Петров стоял на балконе своей квартиры на втором этаже, когда заметил внизу в травах странное движение. По земле неуклюже семенил голубь сизарь, то и дело раскрывая крылья в бесплодных попытках взлететь, а за ним зорко следила ворона, сидящая на стволе сваленного в прошлом году дерева. Время от времени ворона подлетала к голубю и наносила ему удар клювом в голову, потом снова возвращалась на свой ствол и продолжала с интересом наблюдать, уверенная в добыче. Голубь был обречен, по сравнению с ним клюв вороны казался огромным топором, и когда Петров понял это, сработал какой-то инстинкт: не обращая внимания на вопрос жены «куда?», он выскочил из квартиры, вылетел из подъезда и был на месте казни, видимо, в ее последний момент. Отогнав ворону, присел, чтобы взять голубя в руки, и в этот момент треснули по срединному шву в промежности его еще совсем не старые брюки. Петров взял голубя в руки. В области шеи у того была глубокая дырка, в которой виднелись два обнаженных красных сосуда.

— И что будем с ним делать? — спросила жена.

— Для начала рану посыплем аспирином и дадим поесть и попить. А у меня вот, штаны лопнули.

— Ничего, — сказала жена, — зашьем.

Они отвели раненому голубю угол в большой комнате, привязали его за лапку веревочкой, чтобы не разносил свое добро по квартире.

А на это он был мастер, и жене приходилось едва ли не каждый час подтирать паркет, впрочем, она не возражала, проникшись какой-то симпатией к спасенной от верной смерти птице.

— Давай назовем его, — улыбнулась она.

— Будет Григорий, Гриша! — объявил Петров.

Так прожил у них голубь три дня и три ночи. Голубь клевал принесенную в чашечке крупу, пил из другой водичку и какал, какал, какал...

Но теперь, возвращаясь домой, Петров не чувствовал прежнего уныния, как при переходе из пустоты в пустоту, пустоты его работы в НИИ, с никому не нужными графиками и псевдонаукой, в пустоту домашнюю, полную бессмысленных повторений быта, в пустоту, будто высасывающую жизнь в космический вакуум. А теперь в груди его что-то тепло и приятно грело. «Григорий, — с удовольствием повторял он про себя, — Гришка!»

Детей у них с женой не было: с самого начала они решили пожить «для себя», без «лишних» забот, попутешествовать по стране.

Но путешествия быстро заканчивались, наваливались почти на целый год гнетущая скука и уныние, и они отдалялись друг от друга. А тут, поди ж ты, он вдруг обнаружил, что забота о ком-то может быть вовсе не в тягость, а радостно приятной! И дыра в сосущий космос закрылась!

На четвертый день жена сказала:

— Слушай, а давай его на балкон определим, все равно улететь он не сможет! И веревочку отвяжем.

Так и сделали.

В тот день, по возвращении с работы, Петрову открыла дверь возвращавшаяся с работы чуть раньше жена, с расстроенным лицом:

— Гришка пропал!

И в самом деле — на балконе Григория не было: значит, все-таки взлетел! Ну а дальше-то?

Петров кинулся на улицу и обследовал землю под балконом: если свалился?

Странно, но Гришки он ни там, ни вокруг в травах не нашел, зато и не было никаких следов в виде перьев и крови. Улетел Григорий, предпочитая свободу безопасности.

— Улетел! — кисло улыбаясь, сообщил жене Петров.

Больше они до ужина не разговаривали, а когда сели за стол, он сказал:

— Слушай, а не завести ли нам ребенка?

— Я давно тебе об этом хотела сказать, только боялась... — отозвалась жена.

Не ходите, дети, в лес

Вася шел по краю поля. За оврагом, поросшим высокой травой и кустарником, начинался лес. В лес идти было нельзя, потому что там кто-то заблудился. Но там росли грибы и ягоды, вкусная земляника, — взрослые девочки, Аля и Женя, приносили на дачу полные корзинки ягод. Когда ягоды высыпали, берестяные стенки корзинок были розовые и мокрые.

Вася никогда не наедался земляникой, ему всегда становилось обидно, когда она кончалась в тарелке.

Поле было открытое и скучное — под синим большущим небом. В лес ходить было нельзя, лес был скрытный, там кто-то заблудился, там были грибы и земляника, которой можно было наесться, и еще что-то большое, важное — плохое или хорошее — Вася не знал.

В жарком воздухе жужжали шмели. Из оврага смотрели ромашки и подмигивали.

Красные ягоды на каком-то кусте звали его. Вася спустился в овраг. Он и не собирался заходить в лес. Высокая трава была хитрая, она щекотала открытые ноги и руки. Спустившись в овраг, где пряталась влажная духота и трава доходила почти до лица, он оглянулся: куст с красными ягодами исчез, но он помнил, что это не была земляника, земляника была в лесу. В лес ходить было нельзя. Там кто-то заблудился, там была земляника, которую приносили домой взрослые девочки Аля и Женя, и еще там когда-то жили звери, а теперь их нет, сказала мама, а папа сказал, что зайцы забегают... Значит, могут быть и зайцы, и волки, и медведи, и всякие чудища...

В лес было боязно входить, как в холодную воду жарким днем.

Вася посмотрел вверх: на склоне холма выступала из леса темно-зеленая бородатая ель. Она чем-то напоминала сторожа дядю Мишу, который мастерил ребятам свистульки. Вдруг показалось, что и сам дядя Миша сидит меж ветвей в своей кепке, курит трубку и улыбается ему в широкую седую, желтую у рта, бороду.

Вверху прошел ветер, и бородатая ель закачала ветками, словно ласково поманив Васю. Вася поднялся к ней, и теперь дяди Миши между ветвей не стало. Он дотронулся до ветки, и она легко уколола пальцы.

Посмотрел вверх. Ветер ходил по кронам меж сучьев. Высокие стройные березы равнодушно судачили о чем-то своем, взрослом: какие-то побрякушки, платья и что-то про зарплату, насмешливо и холодно поблескивая лаковой листвой. «Ах, ах...» — укоризненно качнулась ель, обмахнувшись ветвями. Вася погладил ель по ходу ветки, чтобы иголки не кололи: ель оказалась добрая. А вот березы не хотели его замечать, и ему было обидно.

...Дальше в лесу стало темнее и прохладнее. Было тихо. Под ногами прелые коричневые листья сменили траву, папоротники доходили до груди. Высокие стволы уходили вверх, где Кто-то о чем-то думал, и Вася шел, ступая осторожно, стараясь ему не мешать.

А земляники не было...

У одного из стволов он разглядел круглую коричневую шляпку под цвет мокрого прошлогоднего листа. Отвернул ее и увидел душистый белый черенок. Снизу шляпки, от центра расходился белый веер нитей. Черенок остался, а масляную шляпку он сунул себе за рубаху и пошел дальше: гриб можно было сварить и съесть, гриб поможет.

Из зарослей орешника выпорхнула какая-то птица и улетела так стремительно, что он не успел ее разглядеть. Оказывается, ходить по лесу совсем просто и не страшно. Будто слышался вдали голос, и ему слышалось, кто-то зовет его. Он остановился и прислушался, с колотящимся о спрятанный гриб сердцем, — может быть, его звала мама, а может, это был зов леса. Голос затих, и Вася пошел быстрее.

Наконец, впереди между стволов показался свет, и Вася вышел на круглую поляну с голубой травой. Среди голубой травы сверкало множество бусинок. Вся поляна была усыпана земляникой! Вася сел на корточки, принялся срывать ягоды и отправлять себе в рот, иногда по несколько штук зараз. Ягоды были маленькие, с крохотными желтыми волосками, необыкновенно сладкие. Иногда от алых точек рябило глаза. Скоро пальцы и ладошки стали алыми. Сначала мальчик двигался на корточках, потом на четвереньках, поворачивая и отползая туда, где больше ягод. Он даже про гриб забыл. Он ел и ел, а из травы

подмигивали все новые и новые ягоды... Эта поляна была его! Только однажды по ее краю прошла незнакомая женщина с корзинкой, но не заметила Васю (может, она и вовсе была не настоящая!).

...На поляне стало прохладнее, трава посинела, а ягоды из алых превратились в красно-черные и потеряли вкус! Вася пытался есть еще и еще, но больше не попало ни одной вкусной как прежде. Вася устал и вспомнил теплую лампу под абажуром, которую зажигали вечером дома. Вечером приходит Юра из соседней дачи и ему можно рассказать про земляничную поляну. И маме, и папе он про эту поляну расскажет, вот все удивятся!

Наконец он поднялся на ноги и огляделся.

Ни дома, ни Юры, ни папы, ни мамы... Лес вокруг стоял одинаково густой, и откуда он вышел — Вася не помнил. Но лес был добрый, он сам его доведет, и Вася пошел...

Он шел и шел, а вверху, меж ветвей, небо стало розово-синим. Кое-где за стволами, в подлеске, пряталась темнота, и Вася обходил ее. Он спустился в овраг и услышал журчанье: стенка оврага сочилась водой, она крохотным водопадиком падала с камня, образуя ручеек, будто ножом прорезавший глинистое дно оврага. Вася попил холодной воды. Ручеек шептал и бормотал о чем-то сам с собой, увлеченно и горячо, и Вася прислушался, но ничего не понял. Мальчик заговорил с ним, но ручеек не обратил на него никакого внимания, и Васе стало обидно и горько от его равнодушия.

Становилось темнее, и он вспомнил про животных и чудищ, которые могли появиться в лесу. Конечно, они приходят ночью, когда их не видно, и взрослые могут про них ничего не знать. Вася шел и шел, а лес не хотел кончаться; Васе стало страшно, и сердце заколотилось. Он побежал и вдруг оказался на краю поляны...

Но это была уже какая-то другая поляна, на ней росли огромные дубы, торчали пни и коряги, и в сумерках между ними змеился и поднимался туман. Влажные черные ветви блестели среди волн струящейся белой мглы и, казалось, двигались: вот баба-яга летит куда-то, крючковые руки. Вот леший что-то кричит, а там дракон извивается!.. Вася стоял, замерев. Вот он их и встретил! Тихонько, чтобы его никто не заметил, он отступил в лес...

А в лесу уже совсем стемнело. Пройдя немного, почуввав усталость, Вася присел отдохнуть. Он обиделся на лес — лес не хотел его отпускать. Мама, папа, теплая лампа — как это далеко!.. А может быть, он никогда их не увидит... Стало тоскливо, страшно, и Вася заплакал, — тихонько, чтобы его не услышал Кто-то.

Наконец поднял глаза. Привыкшие к темноте, они стали различать, что перед ним, шагах в десяти, слегка повернувшись к нему боком, неподвижно стоит человек и, наклонив голову, как бы прислушивается к чему-то. Вася замер, и сердце его бешено заколотилось. Человек тоже не двигался, будто ждал. Если он прятался, — значит недобрый. Может быть, это и есть Тот, кому в самом деле принадлежит лес? Вася задрожал. А может, это один из бандитов, про которых иногда говорят папа и мама.

У них на даче был взрослый мальчик Генка, которого боялись Аля и Женя, они говорили: «Генка — настоящий бандит», говорили, что он носит в кармане перочинный ножик. Генка ходил в распахнутом пиджаке и курил. Все бандиты похожи на Генку. Да, это был он, Генка, теперь Вася видел его пиджак, — и руку в карман засунул, где ножик, и ухмыляется, глядя на него. Всю дорогу следил за ним, чтобы теперь перочинным ножиком... Ах, как страшно! Был бы папа, вот он бы ему задал!

— Гена, Ге-ена! — захныкал Вася. — Не тронь...

И оттого, что Генка не отвечал, было еще страшнее, и слезы хлынули из глаз, затмив все. Слезы и темнота, темнота и слезы... Когда слезы кончились, Генка стоял, как и прежде. Неожиданно подул ветер, и то, что было Генкой, превратилось в шевелящийся качающийся куст, от него как бы отпадал кусок, изобразив нечто, не имеющее названия и, потому, еще более страшное.

Вася стал упрашивать это страшное не трогать его, обещать ему самые лучшие свои игрушки, обещать всегда слушать папу и маму, стал упрашивать и плакать, плакать и упрашивать... Теперь Вася понял, что лесу нет до него никакого дела, никакого дела не было до него ни звезд в небе, ни прохладной земле. Он был брошен, предан — маму и папу, единственно близких людей, уже не увидать никогда! И от небывалой тоски стало трудно дышать — и вновь подступили рыдания...

...Он не заметил, как заснул, в изнеможении от слез. Лежал на теплой земле, свернувшись клубочком у корней сосны, которая время от времени что-то нашептывала в теплом воздухе ночи. Ему снился хороший сон: мама угощала его конфетами, а вся кофта у нее была усыпана земляникой. Дома было тепло и хорошо.

Мальчик проснулся от оглушительного птичьего звона, будто с неба сыпались дождем драгоценности, они разбивались о листву на сотни лучей и лучиков. Где-то слышался собачий лай со знакомой хрипотцой.

«Шарик!» — сразу подумал он. Встав на коленки, увидел, что находится на краю поля, за которым виднелись крыши деревни, знакомая колокольня с выросшим на куполе деревцем, а по полю идут папа и мама и рядом с ними бежит белый в рыжих пятнах соседский Шарик.

Он что было сил закричал и бросился к родителям. Папа заметил его первым и замахал руками. Как ни спешили к нему родители, Шарик оказался быстрее... Мохнатый горячий удар свалил на землю, и мокрый быстрый язык пса залепил лицо.

Скоро Шарик оказался внизу, а Вася в крепких руках, которые его понесли. Он не видел ничего, кроме слез и плещущегося в них розового солнца.

Последний

Наступила такая степень усталости, что все стало безразлично: и куда они идут, и зачем, и вообще вся предыдущая жизнь и желания оказались совсем неважны в этот момент, будто дальние сны... Был единственный императив: надо. Или-или: если не идти, значит будет еще хуже, а точнее — ничего не будет. Чавкали заполненные водой сапоги в талом мартовском снегу, оставляя быстро заполняющиеся водой дыры.

«Скворцов! — слышалось. — Отстаешь!» Он не сразу понял, что это к нему обращались. Вода хлюпала в сапогах, ужасно тяжелой была намокшая шинель, невероятно тяжела винтовка... С моря иногда доносились порывы ветра и заставляли зубы выстукивать дробь. Весенняя птичка свистнула у левого виска, но это не птичка, это пуля от красных, прижавших их к морю. Впрочем, уже все равно, главное — отдохнуть! Поспать, хоть минутку!

Десант и прорыв к Перекопу оказались неудачными — на пути вставала лавина за лавиной противника... Мимо проплывали вперед смутные фигуры, серые шинели в фуражках с красным верхом дроздовского полка — обгоняли, несмотря на то, что он пытался идти быстрее. Вот и сам генерал проплыл на лошади с перевязанной грязной тряпкой щекой, в которую попала пуля на излете. Лицо злое, почерневшее от пороха и усталости, но в чиркнувших по нему черных глазах все та же непреклонная ненависть и цельность. А вот у него уже нет сил ни ненавидеть, ни любить: спать, спать, спать!..

«Скворцов, подтянись!» — будто не ему уже кричали. Бросить винтовку? Тогда идти будет легче! Да, он быстрее других выбился из сил из-за того, что ночью был два часа в карауле, а потом не смог заснуть... Но кого это сейчас волнует? И ему уже все равно... Серые фигуры проходят вперед все реже... Перед глазами сверкает снег и плавают

оранжевые круги... Да, гимназию он закончить не успел и женщину познать не успел, и бесконечность периодической десятичной дроби проверить, осмыслить... Ничего важного позади... Родители? — их лица далеко и расплываются: папá, железнодорожный чиновник в своем мундире, мамá, сухонькая морщинистая... плачет... Серые фигуры больше не проходят...

Он последний? Значит можно бросить винтовку, и никто не заметит, и можно пойти быстрее. Тяжелая трехлинейка соскользнула с плеча и упала в грязь. Неужели прав старший брат Павел, когда в киевском кабаре уговаривал его покинуть добровольческую армию с ним и уехать в Берлин или Париж?

— Я устал от безумия, — говорил он. — Такой чудовищной войны, когда русские убивают русских, Россия не знала за всю свою историю, и я не буду в этом участвовать! Не хочу, не буду! А ты?

— Я не могу оставить своих... товарищей, — промямлил он, чуя, что это совсем не те слова, которые определяют судьбу.

— Ну и дурак, — сказал Павел, почему-то побагровев.

Молодец Паша, он так и сделал, исчез на следующий день из его жизни навсегда. Неужели, чтобы остаться честным, надо обязательно погибнуть?.. Плен? — невероятно, дроздовцев красные сразу казнят... Нет, он не может дальше идти и без винтовки! Он — последний... Слева из-за снежной сопочки показалась церковка. Там укрыться, может, не заметят? Но там такой сладостный сон! Эта бесконечность десятичной дроби... по ней можно шагать и шагать не уставая вниз... И в следующий момент он свернул к церковке, куда его позвала бесконечность.

Дверь в церковь висела на одном крюке и была полуоткрыта. Последний раз взглянул на сине-голубое море, удаляющиеся штрихи десанта и вошел в пространство, где не было ветра, и в первый миг показалось теплее. Он прошел мимо икон к царским вратам и сел, опершись о них спиной, слева от распятого на кресте. Ног он не чувствовал, тела не чувствовал, периодическая бесконечность увлекала вдаль, вниз по своим ступенькам, где было так тепло. И он увидел весело машущего ему Свиридова, убитого еще до Крыма. «О! Давай сюда! — кричал он веселый и чистый без развороченной гранатой груди... Здесь хорошо-о-о-о! — размахивал он рукой. — И есть что обсудить! Нам так много надо поговорить о России!» А вокруг был зеленые холмы...

Но что-то остановило Скворцова в его веселом беге по ступенькам. «Господи Иисусе! — подумал он. — Господи Иисусе!»

«Бом-м-м», — внезапно ударил в вышине качнувшийся от порыва ветра с моря колокол. Сковорцов открыл глаза. Пол в церкви покрывала грязь, многие иконы лежали на полу.

«Господи Иисусе!» — подумал Сковорцов и тут же забыл то, о чем хотел просить.

Входная дверь скрипнула и грохнулась на пол. В проеме показались три фигуры в серых шинелях, в папах и бескозырках.

— Га-а-а! — раздалось усиливаемое эхом. — Живой, гадина!

Фигуры о чем-то болтали, подходя к Сковорцову.

Одна из них в папаше с красной лентой подняла винтовку, нацеливая на него.

— Га-аа! — слышалось со всех сторон. — В расход!

— Стой, а поссать? — тот, что был в бескозырке, подошел ближе всех и стал стягивать штаны.

Сковорцов приоткрыл один глаз и увидел дымящуюся желтую струю, почувствовал тепло на подбородке и как намокает за воротом шинели.

«Бом-м-м!» — вновь случайно прогудел колокол, и на его призыв один из вошедших под хохот товарищей направил трехлинейку на распятого и щелкнул выстрел.

— Гля! Антоха ему промеж глаз залепил!

В проеме двери возникла фигура не то женщины, не то мужика: сапоги, широченные галифе, кофта из черного бархата, короткие сусальные волосы торчали из каракулевой папахи клоками. Тот, кто был ближе, в бескозырке, стал поспешно натягивать штаны. Из-за рассыпчатой матерщины выплывали слова: «Пока вы здесь развлекаетесь, беляки уходят на шлюпках!»

— Что, новый десант?

— Прорвались своих забрать!

— Добивайте и к берегу! — зыкнула баба-мужик, размахивая кольтом, и мужики поспешно кинулись из церкви.

Баба-мужик, любопытная к смерти, подошла к Сковорцову с дыркой во лбу, затылком, превращенным в багрово-алое дымящееся месиво, и, взглядевшись в черты, удивленно воскликнула: «Сковорцов! Эй, скворешня!» Память полетела в чистый зал с вальсирующими парами. Сковорцов держал ее, маленькую брюнеточку в светлом бальном платье, и нес куда-то в бесконечность.

— Ну и ладно! — крикнула мужик-баба. — Ну и ладно, найдутся другие!
«А Скворцов ли? Оброс...»

Она вдруг почувствовала, как в грудь ударило пьяное чувство бесконечного превосходства живого над мертвым. Наклонилась, подняла мертвую руку. На среднем пальце был перстень, она нащупала камень, завернутый вниз, с трудом вывернула, сунула себе в карман и выбежала на воздух. Вынула перстень, блеснувший рубиновым лучом, и сразу снова убрала в карман. Да, это был Скворцов, и этот перстень был на его руке, когда он приглашал ее на вальс.

В синем море как белые чайки уходили немногочисленные шлюпки с белыми. Берег был усыпан темными точками — красноармейцами, и потрескивали выстрелы. А мимо уже шел оцетинившийся штыками поток пехоты. И чайки с кликами и хохотом кружили над берегом, чуя поживу.

— Другие найдутся, слышь, другие! Другие! — заорала она в пространство и отрывисто захохотала.

«Жди меня, и я...»

Когда наша семья окончательно осела в подмосковном дымном заводском Подольске, где я проучился в школе с третьего по десятый классы, на летние каникулы мама старалась меня вывозить на юг к морю, укрепить мое здоровье: Коктебель, Феодосия, Анапа, Сочи... Отец оставался дома, и мы путешествовали с мамой вдвоем.

Поезд обычно отбывал из Москвы утром и около полудня проходил Курск. Лицо мамы серьезнело — в первую нашу поездку на юг она сказала, что здесь были страшные бои, в которых погиб ее довоенный жених — сгорел в танке. Мы молча смотрели через окно на проносящиеся мимо живописные луга и дубравы, мелькающие полустанки, но ничего уже не напоминало о самой страшной в истории человечества танковой битве.

Лишь после окончания института через близкое тогда мне третье лицо я вдруг случайно узнал, что танкист не погиб. Меня это тогда не заинтересовало — столько лет прошло и столько своих дел и мечтаний было!.. И то, что пару раз мама обмолвилась, как, приехав после войны в Кривой Рог, где жила до войны, увиделась со своим женихом, тоже не вызвало вопроса. Не смущала неувязка — или жених погиб на Курской Дуге, или вернулся после войны в Кривой Рог, откуда мама бежала за полчаса до захвата города немцами? Я просто об этом не задумывался: в моем настоящем это не имело значения...

А она рассказала, что ей страшно не понравилось его развязное поведение: «Ну, теперь мужиков мало, а женщин много — возьму какую захочу!..» — вальяжно сказал он. Маму это оскорбило и на следующий день, с утра, никому не говоря ни слова, она покинула Кривой Рог теперь уж навсегда, сев в поезд, идущий обратно в Москву навстречу неизвестному будущему.

Далеко не для всех послевоенные встречи оборачивались счастьем — встречались слишком измененные за четыре года войны люди. Думаю, так случилось и здесь. Вместо скромного курсанта танкиста, с которым она познакомилась на танцплощадке, она увидела обожженного и циничного человека... Он прошел половину разрушенной, изнасилованной в отместку Европы, и его душа находилась в скалярном состоянии, для которой покой и невесомая пустота были благом. Мамина же душа была векторная, стремящаяся к наполнению. Мама объехала в составе эвакогоспиталя половину востока страны, и люди, жизнь только разжигали в ней интерес и желание расти.

Да, бывает так, что люди любили друг друга, четыре года войны писали письма со словами любви и поддержки, которые были необходимы... Но прямая, как выстрел, военная эпистола — одно, а жизнь — другое, в ее мантры не укладывающееся. Четыре года! За это время жизненные траектории разошлись слишком далеко, и приходилось рвать вопреки сердцу. И она решительно порвала... но шрам остался. А мне, чтобы не было вопросов, сказала — сгорел... Да так она и себя уже почти убедила: тот скромный мальчик, который провожал ее с танцев, сгорел в огне войны, породив совершенно иную личность — грубую, обожженную, солдатски несложную.

О шраме я упомянул не зря. Через три года после войны, выйдя замуж за моего отца, они поехали в свадебное путешествие в Анапу. Анапа в то время поразила ее живописным безлюдьем, чистыми золотыми песками, нежным морем... Но в первый же день, пробыв от радости на солнце гораздо больше положенного, она сильно обгорела, вечером впала в жар и бред, и всю ночь звала одно и то же мужское имя — не отцово... На следующий день она пришла в себя, не помня, что с ней происходило.

— Кто он? — спрашивал разъяренный ревнивый отец армянин, называя имя, которым она бредила. Но женщина ничего не скажет, если не захочет, хоть пытай: «Я не знаю, не знаю, клянусь. И откуда он взялся?» — смеялась, только делая удивленные глаза, и отцу осталось лишь поверить. А я думаю, это и было имя того танкиста, который «сгорел».

Мы смотрели в окно вагона под Курском, молча. Двадцать лет прошло после войны, столько событий произошло: страна отстроилась, выросли рощи, люди в космос полетели, я родился...

Неужели то неизвестное имя так и осталось лежать в ее сердце?

Этюд в розовых тонах

Мы сидели на лавочке рядом с цветущими розами напротив церкви святой Рипсиме. Был мягкий сентябрь 2006 года, В этот предвечерний переходный час молочно-белое небо розовело, и вся земная плоть вокруг стала нежно-розовой, в унисон лепесткам роз — и церковь, и Арагац за нею, и громада Арарата за нашими спинами.

А Арагац и на гору-то слабо похож, хотя четырехтысячник! — так положи его склоны, что их можно принять за покатую обширную равнину, из центра которой прорвались сросшиеся каменные сосцы — его вершины. Ничего похожего на циклопическую геометрию Арарата, едва ли не полнеба закрасившего...

Мы отдыхали среди розовой, вспоминающей вечность вселенной.

Церковь Рипсиме из всех армянских храмов мне всегда нравилась особенно, с тех пор как я увидел ее в детстве на фотооткрытке из набора видов Армении, который нам привез в Подольск дальний родственник.

Точка, откуда началась христианизация всего Закавказья. Храм скромно и одиноко стоит на окраине городка Эчмиадзина, в стороне от Кафедрального собора, семинарии и резиденции Католикоса. Он им предпочитает общение с двумя горами. Прочность и пропорциональность, розовый камень VII века кладки... Армянские церкви своими пологими плечами напоминают армянские горы, и пологие армянские горы напоминают армянские храмы. Но здесь высота и горизонталь уравновешены, арки смягчают суровость, укос купола круче, чем склоны Арагаца и больше соответствуют Арарату.

— А она не была армянкой, — обыденно рассказывает наш добровольный проводник, курчавый армянин, будто о событии двухнедельной давности, — она была римлянка... Царь Трдат ее казнил в 301 году на этом месте за то, что она не захотела стать его женой...

Странно, но и через ту точку почти 100 лет назад вилась и истончалась, готовая вот-вот прерваться, нить моей судьбы: мимо этого храма проходил со своим братом мой отец: они бежали из детского дома в Эчмиадзине, где им грозила голодная смерть, в сторону Еревана —

к призрачному спасению через нищенство. Они прошли босыми зимой 15 километров. «Как мы остались живы, до сих пор не понимаю!» — вспоминал отец. Вот по этой дороге, ниже храма... Я оборачиваюсь и вижу дорогу, теперь заасфальтированную, и огромный розовый Арарат.

Но в этом сентябре я не вижу на Арарате белого снежного покрывала! Арарат без снега? Это кажется невероятным и противоестественным! Ведь со школы мне известно, что вечные снега начинаются с четырех тысяч метров над уровнем моря, а здесь пять тысяч сто шестьдесят пять! Каждый раз, когда самолет делал вираж, заходя на посадку в Звартноце, и легко накренился, в иллюминаторы дружески заглядывала огромная белая шапка гиганта, будто приветствуя пассажиров, и на лицах и много раз видевших это зрелище, и видящих впервые зрели улыбки: Армения сразу встречала главным — громадой Горы, будто хранящей в себе громаду ее истории. Но на этот раз я не увидел белой знакомой шапки, а лишь цепочку мелких бусин на вершине — видимо, снежников, и в готовых было к улыбке глазах пассажиров появилась какая-то растерянность, смущение, но никто не обмолвился ни словом — таким это казалось невероятным, так не хотелось в это верить!..

Неужто так отозвалось здесь планетарное потепление?!

Жизнь человеческая для истории — миг...

Жизнь человечества для геологической истории — миг...

Жизнь земли для вселенной секунда...

Так неужели нигде нет ничего Вечного?

Нет, есть! — вечное движение Творящих сил, Духа неутомимого, воплощенное через человека, — меж этих двух гор в очертаниях и камнях церкви Рипсиме, связующих эту красную землю до условной пограничной речки, и такую же красную землю за ней в Единое...

Церковь

Церкву эту я еще с молодости помню, сынок. Венчалась в ней. Красиво было. Батюшка слова говорил, и свечи горели. Пенье в ней было тоже хорошее. Житье наше с Васей не шибко чтоб хорошо было, да и не хуже других, слава Богу. Бивал он меня подчас, да и чего не бывает? Наша изба вон там стояла, где счас дом пятиэтажный. В овражке с ручьем стояла, где белье полоскали. Колокольню из нее было хорошо видать, прям над соседской крышей. Уж и высокая она тогда казалась нам,

уж и важная! Овражка-то того нет давно, засыпали его, когда район строили, да ручеек в трубы взяли.

Ну да недолго мы с Васей жили тихо. Тут гражданская началась. Вася с красными ушел да пулю в грудь на Дону получил. Пришел с войны раненый. Кровью харкал и дохал, сам еле ноги тащит, все на кровати больше лежит. Так десять лет на кровати промаялся, все дохал, намучился, сердешный, да я с ним навидалась. А тут еще дети пошли — двое, Анютка и Васятка, в честь отца-то. Пошла прачкой работать, в ночную. Доктора не помогли. Хотела я в церкву-то сходить, да все не пускал: нет, мол, Бога, говорит, и все тут. Да и церкву-то нашу закрыли, колокол сняли, а до действующей было далеко, на другой конец города аж. А он лежит как-то, лик костяной, что кощей, и на колокольню пустую в окошко смотрит, и говорит вдруг: «Помру я скоро, жаль, новой жизни счастливой не увижу», — и заплакал. Ну я тайком собралась все ж, съездила на другой конец города, свечку за него ставила. Тяжко отходил...

И осталась я вдовою, с двумя-то детьми на руках. А тут хлеба еще хватать не стало. Думала, по миру пойдем, да власть не пустила. Пошла к начальству: так и так, говорю, жена раненого красного бойца, двое детей малолеток. Вошли все ж в положение, сгинуть не дали. Васятку-то в интернат взяли. Анютку я уж сама подымала.

Церква-то все то время пустая стояла. Мешала она вроде, хотели там не то дорогу класть, не то площадь чтоб была. Рвали два раза ее, во втором разе рабочего убило, а она стоит. Говорят, раньше состав особый знали, чтоб камни скреплял. Ангелочки там красивые были, на золотых цепочках висели, так их поотрывало... Говорили в то время, в церкви планетарий устроят, чтоб луну и звезды всякие было видеть оттуда, потом клуб сделали, чтоб молодые танцевать могли и кино смотрели.

В той поре я на фабрику работать пошла, а Анютка — в школу. Васятка-то, старший, только в люди выходить начал: интернат как закончил, в училище военное поступил, на командира учиться. На отпуск приезжал, красивый, в форме... Избенку нам подправил. Жениться не успел, война началась, немец пошел. В первый год же под Могилевом в плен попал, в окружение. Бежал, потом партизанил... Анютке в той поре тринадцать годков исполнилось. Ну да, в той поре все в заводе были, и стар, и мал, заместо мужиков у станка. Хлеба мало было. А зимой уж люто приходилось! Анютка тоненькая, синенькая, за день с ломиком намается, придет домой, упадет и спит, как неживая, аж не дыхнет. А я вечерами варежки вяжу, смотрю на нее, и сердце

материно разрывается, а все ж мысль одна: где Васятка? Только б победить, только б немца не допустить.

Немца одолели, значит. Васятка вернулся, живой, в медалях. Да недолга радость была, видать, наговор на него дурной был, уж очень горяч был да нетерпелив, что на уме, то и на языке, весь в отца, что два яблочка. Пришли по темноте, отлучили от матери.

К той поре, еще в войну, мы в бараки переехали, чтоб к заводу поближе быть, о другую сторону церкви, там сейчас кинотеатр новый строят. В церкви склад сделали, а мне ружжо дали, сторожихой, значит, говорят, будешь. А я говорю, а ружжо-то на что мне, мне что ружжо, что коромысло. Ну да, говорят, порядок такой, патронов можешь не брать, а ружжо иметь обязана при себе.

Начала я сторожить. А уж страшно-то как одной в ночи! Все мнится, воры крадутся, а то мыши шуршат. Ходишь меж штабелей, своды высокие, а со стен-то красочка от сырости поотваливалась, и лики старые проступили... Глядят, как живые, аж жуть, и Спас-Вседержитель проступил весь, смотрит на меня строго так, будто вина моя в чем. А я стою с пустым ружжом напротив и плачу... Васю вспомнила, как венчались и слова говорили. Вася-Васенька, где ты, мой родимый, растерялись мы с тобой навек. На последнем годе войны пришла на кладбище, а там по весне размыло все, холмик от холмика не отличишь, все травой поросло, был бы крестик иль деревце какое, может, и нашла... Воды было много в том годе, река из берега вышла, плотины наверху еще не было. Потом там стадион должны были строить. Кто своих-то знал, где лежат, вывезли на новое кладбище, а я вся потерялась... Вспомнила, как говорил он, что Бога нету. «Вот за то Ты меня и наказываешь», — думаю. Съездила я в другой конец города, в церкву, свечки ставила, за Васю, Васятку, Анютку. Молилась...

А Анютка то время на заводе работала и уж на выданье была. Муж у нее из торговли получился, вроде жить получше стали. Анютка раздобрела, внучка мне родила. Жилье мы лучше получили из барака в коммуналку переехали, там пара комнат хорошие были Это отсюда подале, к центру будет.

А тут Васятка вернулся, как Берию распознали. Семь лет в степи Канал рыл. На завод взяли, а все ж вижу — сам не свой ходит и все молчит, все молчит. И стали они с Борисом, мужем Анюткиным, меж собой не ладить. Разговоры пошли зряшные, стал его Борис не по справедливости упрекать, что площадь занимает, сидельцем называть, меня при нем приживалкой. Да и Васятка ему не спускал, говорил, мать мою приживалкою зовешь, а сам ты вор, хуже власовца и контры всякой, с которой я Канал копал...

И как начали они биться люто меж собою... Еле розняли, соседей звали... Борис в суд подать грозился, говорил, откуда пришел, туда на место и отправлю, у меня все свидетели и в прокуратуре знакомые, похвалялся. Насилу уговорили не подавать. Порешили, что Васятка съедет с площади.

А Васятка, пока дело было, лег на кровать и опять молчит, про работу забыл аж. Все о чем-то думы у него, чую, а как утешить, не умею. Раз подошла, повернулся он ко мне и только спрашивает:

— За что ж меня, мать, так, а?

— Что мне сказать? — говорю. — Ума я малого, сынок, в жизни нонешной, да и тогдашней мало смыслу, одно знаю, людей любить надо, сынок, и прощать, и в этом спасенье наше.

Уехал Васятка, и духа его не слышно, жив ли, помер где? А в то время строительство большое пошло. Тогда избенки поносили, овраг засыпали да ручей в трубы взяли. Нам в пятиэтажном доме отдельную квартиру дали, смежную, в две комнаты, прям напротив церкви, только окошки на другую сторону выходят. Мне как раз пенсия вышла. Тут бы и жить, да у Анютки с Борисом ладиться перестало, пить он начал что ни день, Анютку руками прикладывать и на сторону ходить. А Анютка беременная была по той поре и мертвого родила. Ну, да развелись они, значит, Анютка с человеком сошлась. Ничего человек, хороший, учитель из шоферовской школы Егорка, внучек-то, отделился от нас, у жены обретается, правнучкой уж наградил. Нынче все вокруг сменялось, все вокруг дома новые да высокие, церква одна от старого и осталась, жметсЯ сиротинушкой. Склад из нее забрали. Думали-рядили, что с ей делать. Из Москвы ученый был, смотрел ее. Сказывал, что она для истории не ценная, таких много у нас. После слыхала, навроде музей собираются какой открыть.

Живем хорошо. Второй год от церкви подале в новый дом въехали, сменялись. Квартира о две комнаты отдельные, газ, вода из крана горячая. Хорошо зажили, высоко только, этаж одинцатый, а лифт ломается. Я все дома боле, весь день одне сижу. Покамест с работы не явятся, боюсь съехать, а по ступеням не дойду. Летом я на ложу хожу дышать. Там цвет в ящике и колоколенку видать, чуть пониже ложи. А зимой я весь день одне сижу, жду, читать слепая, да и что проку в бумаге? Я все как малая была, вспоминаю, праздники старые да яблоньку, что у избы была и снегом по весне цвела.

Недавно Анютка с мужем телевизир купили цветной. Телевизир я люблю смотреть, там люди ходют, слова говорят...

А тут на днях у меня радость нечаянная вышла, весточка от Васятки пришла. Живой! Мать-то отыскал. Анютка читала, прорабом в Кемерове стал, обженился, и дети есть, к себе жить зовет. Да куда мне, старой, с места собираться, за восьмой десяточек уж, я в поезде раз в жисти ездила, к родне дальней муженой в Вологде, а в самолете — страх. Слава Богу, навестить обещает, может, и успеет еще.

Мне в этой жисти теперь ничего не надо, у меня теперь от нее все есть, только повидать успеть. А помру, чтоб в церкви отпели и крестик на могилке поставили.

1983 г.

Как это начиналось

— А когда вы встретите тех, которые не уверовали,

то — удар мечом по шее,

а когда произведете великое избиение их,

то укрепляйте узы.

Коран. Сура 47. Мухаммад

— Дядя Макар, не выходи на улицу, убьют...

— Да ты что, Ильгар, с ума спятил?

— Дядя Макар, не ходи, сегодня армян убивают...

— Да ты что... что придумываешь, мы что, не в советской стране живем?

В подъезде многоэтажки Ильгар, молодой азербайджанец, сын соседа Али Мамедова, перегораживал плечом, насколько это было возможно, не теряя вежливости к старшему, выход на улицу.

Старик Маркар Овсепян стоял с пустой кошелкой, он собирался в магазин, и в распахнутый проем видел кусок белой, освещенной солнцем улицы, пройденной десятки тысяч раз и вдруг ставшей непреодолимой, часть витрины «Детского мира» со смеющимся пляшущим Буратино из папье-маше — до булочной минут пять пройти, влево.

В городе последние дни ходили смутные слухи, но Овсепян смеялся, не верил. В жизни он повидал немало страшного, последний год войны захватил: был ранен под Берлином, но есть вещи, которые сознание человека просто не может в себя уместить: «Мы что, сто лет назад живем, слушай, люди в космос ракеты пускают, все кино смотрят!..»

— Да ты что, Ильгар, в какой стране живем?..

— Тише, — сказал Ильгар, сквозь смуглую кожу его лица проступила бледность.

С улицы слышался шум. Показались идущие в одну сторону люди. Толпа. В толпе что-то возмущенно кричали, размахивали руками, зеленым хвостом мелькнул незнакомый флаг, и чуть подавшийся вперед Овсепян почувствовал, как подрагивает плечо Ильгара.

— А у них свои дела, а мне ж только батон купить, — пробормотал Овсепян, уверенности в нем заметно поубавилось.

Катерина Васильевна, дородная жена майора в отставке, всегда несколько надменная, прошла мимо них, сдержанно поздоровавшись, однако, едва выйдя на улицу, остановилась. Прищурившись от солнца, она смотрела на толпу, что-то кричащую на незнакомом ей языке.

Коричневые черноусые лица лоснились от пота, черные головы, лихорадочно блестящие глаза, вскидываемые кулаки грозили небу... Ветер вздымал впереди толпы желтые клубы пыли, обрывки бумажек.

— Ишь, лбы, — пробормотала она недоброжелательно, ожидая, пока пройдет толпа, — а бабы-то их пашут...

— Ерунда, — сказал Маркар, — пошумят-пошумят и разойдутся...

Зазвенело разбитое стекло витрины.

— Ой, да что ж они там делают, — выкрикнула майорша. — Хулиганье!

Какой-то человек выбежал из дверей магазина — в толпе возникла странная заминка, часть ее на минуту как бы увязла в том месте, где исчез выбежавший человек, и вновь двинулась вперед.

— Дядя Макар, — подрагивая, сказал Ильгар, — только никому не говорите, что я сказал: сегодня армян убивают... И Анаит скажите...

— Анаит! — Овсепян рванулся вперед, но вновь сдержал Ильгар. — Так что ж ты... что ж ты, — выкрикнул Овсепян, — раньше не сказал?! Вы же с ней в школе одной учились, за партой сидели...

— Я из Баку приехал только, я ничего не знал, мамой клянусь, быстрее уходите, только не говорите никому, что я сказал... Я ничего не могу сделать, ничего... — чуть не плакал Ильгар.

— Господи, что ж они делают, бьют! — оглянулась майорша, словно в поисках силы, способной остановить происходящее.

Овсепян застонал:

— Она ж поехала на другой конец города, к тетке...

Толпа прошла, оставив стоящего на четвереньках человека.

— Господи, что с ним? — майорша кинулась к нему, поддержала, когда он встал. Из носа человека свисала толстая алая нитка — непрерывная струйка крови.

— Я же говорил им: не армян я, не армян! — захлебываясь и кашляя, раздраженно кричал человек.

— Да не наклоняй голову! Выше, выше держи! — кричала майорша, подпирая его.

Буратино все так же смеялся за треснувшим стеклом, задрав ботинок, а Карабас-Барабас был пучеглазый, волосатый, но маленький, меньше Буратино — на витрине добро побеждало зло смехом.

— Анаит! — крикнул Овсепян, ударяя себя кулаком с метнувшейся авоськой в голову. — Анаит, дочь моя!.. — глаза его ринулись в белесое небо, и оно впервые ужаснуло его своей беспредельной слепотой.

Мы поем

были советских лет

Было около восьми утра, и доктор Спиркин, молодой человек лет тридцати, радовался, что дежурство подходит к концу. «РАФ», на котором он возвращался с вызова, вкатил на территорию станции скорой помощи и остановился. Спиркин соскочил с подножки машины и прошел в диспетчерскую. Судя по заполненному фишками табло, почти все бригады тоже возвратились с вызовов. Сдав ящик с медикаментами, Спиркин направился во врачебную комнату.

В этот час здесь, как всегда, стояло веселое возбуждение. Одни доктора сворачивали одеяла на топчанах и собирали сумки, другие тут же располагались. Перебрасывались новостями, шутили. Новая смена появлялась свежая, умытая, выбритая, принося бодрящие запахи пудры и одеколона, закончившие вахту предвкушали близкий заслуженный отдых, снисходительно посматривали на прибывших, чувствуя себя еще на одно дежурство мудрее, качали головами, повторяя многозначительно и загадочно: «Ну и ночка была!»

Однако сегодня во всем этом возбуждении чувствовалось что-то тревожное.

— Слышал, что директриса наша учудила? — спросил встретившийся в дверях Спиркину доктор Лисниченко. — Репетиция собирается.

— Какая еще репетиция, когда? — не понял сразу Спиркин.

— Да хора нашего, скоропомощного. Никто же ходить на него не хочет, так она репетицию решила на пересменке устроить, чтобы народу заловить побольше.

— Да вы что, с ума спятили, восемь утра! У меня рабочий день закончился, — взорвался Спиркин, неожиданно почувствовав, как хорошее настроение дало трещину.

— Это ты ей объясни, — сказал Лисниченко, угрюмо усмехаясь, — за художественную самодеятельность самые большие очки дают, соцсоревнование ведь между коллективами, а скоро подведение итогов. Надо удержать переходящее знамя.

— Какая еще репетиция? — закричала доктор Трещеткина, худая с неукротимо горящими глазами женщина. — Мне ребенка надо кашей кормить, мужа отправлять на смену, в цех, да имела я в виду... я — пролетарий медицины!

«Надо бежать, пока не поздно», — пронеслось в сознании Спиркина, и он бросился к топчану, на котором стоял его портфель. Он помнил, что Анфиса Петровна, начальница отделения скорой помощи, не раз игриво заводила с ним разговор об участии в хоре, а однажды вызвала к себе и поставила вопрос ребром.

— Учтите, ведь я вам иду навстречу, когда составляю график дежурств и отпусков, — сказала она ему, и он, кажется, даже почти согласился, чтобы не портить отношений с начальством, надеясь как-нибудь, по ходу дела, открутиться. Однако молодой доктор опоздал.

В комнату один за одним, с растерянным видом, нехотя, будто кто-то их гнал сзади, входили фельдшера.

— Товарищи, товарищи! — закричала появившаяся в дверях круглолицая директриса, закрыв их своим полным телом. — Никому не расходиться, будем репетировать. Петр Иванович сделал нам такую любезность и уже приехал!

Возмущенный рев был ей ответом.

«Эх, опоздал! — подумал Спиркин. — Теперь не выпустит, не драться же с ней!»

Однако директриса не растерялась (подобную разъяснительную беседу она провела с большинством) и, подняв пухлые руки, махнула ими, как дирижер.

— Товарищи, не волноваться, вы должны понять.

— У меня ребенок голодный дома, — крикнула Трещеткина.

— Мы устали, — жалобно протянула доктор Вернигора, симпатичная хрупкая девушка, работающая первый год после института.

— Что ж, доктора Трещеткину мы отпустим раньше всех, если у коллектива не будет возражений, а от вас, Вернигора, мне просто удивительно слышать такое, да в ваши годы я дежурила по два дежурства подряд и потом еще на свидание бегала!

Откуда-то из-под мышки директрисы вынырнул Петр Иванович, который был на голову ниже ее, худрук районного Дома культуры. Баяном он уже заранее вооружился в директорской комнате. Несмотря на почти сорокалетний возраст, лицо у него было как у ребенка — безвольное, гладкое, без единой морщинки, только красное, будто из печки, глаза — светло-голубые, выпитые. Не теряя времени, обходя докторов, он прошел вперед, сел посреди комнаты на стул и, поправив ремень на плече, круто развернулся к двери. Операция оцепления закончилась.

В это время за спиной Анфисы Петровны показалось полное лицо в роговых очках. Она оглянулась.

— А-а, доктор Веточкин, — радостно запела директриса, как будто случилось какое-то необыкновенное событие, — а мы вас ждем, пожалуйста, проходите! — и вежливо уступила дорогу.

— Меня? — удивился Веточкин, пожилой упитанный холостяк, он уже давно забыл, где бы его могли ждать, кроме вызова, и лихорадочно стал вспоминать, не мог ли пропустить по рассеянности собственный день рождения. В руках доктор нес свой обычный портфель, не менее десяти килограммов весом, с запасом еды на сутки.

— Да, вас, именно вас, — рассмеялась начальница чистым звонким смехом, удивительным для такого грузного тела.

Веточкин вошел, недоуменно улыбаясь, однако уже догадавшись по вспыхнувшему ехидному смеху, что угодил в какую-то ловушку.

— А мы сегодня поем, у нас хор, — объявила ему директриса торжественно, будто сообщила, что его награждают значком «Отличник здравоохранения».

— Вот как? — сказал врач в тон общей атмосфере розыгрыша, поставив свой кожаный, похожий на желтого борова портфель, и усаживаясь.

— Это просто замечательно, и что же мы сегодня репетируем?

— Петр Иванович, что у нас сегодня в программе? — спросила Анфиса Петровна.

— То, что было в прошлый раз: «По Дону гуляет казак молодой» и еще парочку вещей, если успеем.

— Не успеем, не успеем, — закричали врачи.

— Тихо, тихо, — задирижировала снова директриса, а Петр Иванович взял бодрый аккорд, перекрывая звуки возмущения.

— Как петь, — робко заметил Спиркин, — ведь по селектору вызова не услышишь?

Однако слова его остались без внимания.

— Петр Иванович, начинайте, — скомандовала директриса и присела у входа, — я с вами тоже попою, не понимаю тех людей, которые не любят песни: когда поешь, чувствуешь себя такой молодой!

Около тридцати белых халатов сидели на стульях и топчанах и смотрели на Петра Ивановича, берущего перебор и притопывающего ножкой для ритма. У многих после бессонной ночи под глазами темнели круги и, глядя на мэтра, медики по-совиному моргали. Однако среди присутствующих находился все же один искренний энтузиаст. Это был доктор Сидоркин, большой почитатель Шаляпина, обладатель протодиаконского баса, от которого начинали мигать лампочки в помещении, и которым он, при случае, любил воспользоваться. Репетиции всегда доставляли ему искреннее удовольствие.

— Ну, начали, три-четыре! — объявил Петр Иванович и нажал на клавиши.

— По До-о-ону гуляет, по До-о-ону гуляет... — вяло заголосили тридцать халатов.

— Э, нет, стоп-стоп-стоп, — прервал Петруша, — так не пойдет, вы что, на похороны собрались? Надо пободрее. Ну, еще раз, я буду помогать, ну, попробуем, три-четыре!

— По До-о-ону гуляет... — запели вначале тихо доктора, и Петя в самом деле активно помогал им, округляя и вытягивая губы, словно дул на кипяток, боясь обжечься, — ...по До-о-ону гуляет... — прозвучало уже на ступень выше и как бы с вызовом. Петя подбадривающе кивнул головой, потрянув мальчишеским русым чубчиком, мол, так, давай-давай... — по До-о-ону гуляет... — здесь звуки делали какой-то особый перебор, изобретенный Петрушей, — ...казак молодой! — уже довольно уверенно, даже чуть-чуть презрительно, закончили музыкальную фразу выездные бригады.

— Стоп-стоп-стоп, — закричал Петя, — опять вы акаете: не ма-ла-дой, а мо-ло-дой, не пА Дону, а пО Дону — что-то среднее между «а» и «о», для этого надо округлить рот, понятно? Вот посмотрите.

— ...По До-о-ону гуляет казак мо-ло-дой, — пропел он задушевно, идиотически дуя на кипяток.

Сpirкин смотрел на белые спины впереди и думал — не спит ли он и не следует ли незаметно прикусить себе губу, однако, все вокруг — и доктора, и Петр Иванович, и зеленые стены, и местами выбитая плитка пола, и складки на халате, — было настолько убедительным, что как тень растворилось закравшееся сомнение в реальности происходящего.

У Вернигоры был такой вид, как будто у нее болел зуб, у полной шестидесятилетней Анны Афанасьевны, матери большого семейства, на лице было написано обычное выстраданное смирение, Веточкин ухмылялся как-то по-особенному — одними глазами из-за невозмутимых роговых очков, Лисниченко выглядел так, словно потерял близкого родственника, доктор Сидоркин сидел важно и сосредоточенно слушал, что еще изречет мэтр, фельдшер Боборыкин смотрел на мэтра, не иначе как замышляя убийство.

Однако репетиция шла своим ходом, доктора и фельдшера довольно успешно справились с первым куплетом и перешли дальше. Они в песне спросили, о чем же плакала дева над быстрой рекой, и сами же ответили на этот вопрос — мол, цыганка не нагадала ей ничего хорошего.

Одним словом, песня лилась, а песню прозой не передашь, ее слышать надо.

Вечная тема любви, выраженная в песне, кажется, больше всего коснулась женщин коллектива, каждая вкладывала в нее долю своей мечты и страдания: у Вернигоры прошел зуб, она задумалась вдруг о том, когда же, наконец, явится ее суженый, и чувство подсказывало ей, что скоро, скоро, и было почему-то как-то сладко, жутко и страшно расставаться со своим девичеством, Анна Афанасьевна вся ушла с головой в свою судьбу — в душу неслышно входил тот, единственно любимый и потерянный навсегда, о котором она не хотела часто вспоминать, но и забыть не могла уже сорок лет, и бабья тоска одолевала. Каждая была сама в себе, и губы двигались сами собой. «О че-о-ом дева плачет? О че-о-ом дева плачет?..»

Сpirкин пел, пел и неожиданно начал чувствовать прилив новых сил. Он чувствовал, как сникшие за дежурство легкие расправляются, утомленная грудь расширяется, кровь бежит быстрее, дышится легче и глубже. С каждой минутой голос все более креп и рос (дело в том, что в жизни ему петь как-то не приходилось, не считая уроков пения в детстве, а тут, впервые, Сpirкин обнаружил его силу). Из обычного тенора он на глазах превращался в бас, все более упругий и плотный. Сpirкин пробовал свой голос еще и еще, все смелее, и бас его догонял

и мчался наперерез мощному гласу Сидоркина. «А ну я ему покажу, кто из нас Шаляпин!» — подумал азартно Спиркин, опьяненный внезапно открытым в себе вокальным могуществом, мгновениями ему казалось — еще усилие и распахнутся двери врачебной комнаты, двери подстанции и освобожденный звук рекою покатится по улицам родного городка, останавливая удивленных прохожих... Уже оглядывались на него, одни с удивлением, другие испуганно, никто не подозревал в нем, внешне тщедушном и невзрачном, такой силы голоса.

Напрасно Сидоркин тряс львиной гривой, выкатив глаза, — напрасно вздувались жилы столбовой шеи над расстегнутым воротом голубой рубахи, халат широко распахнулся до пояса, открыв побитый молью пуловер — молодой, трубный, нарождающийся глас мчался наперерез и рассекал его густой расползающийся бас надвое; Спиркину казалось: еще немного напрячься — и Сидоркин будет посрамлен, в груди играло торжество. Весь удивленный и потрясенный хор словно отступил куда-то на второй план.

— Ма-ала-адой! — выдавал Спиркин, сгоряча позабыв обо всех уроках мэтра, оранжевые искры запрыгали перед глазами.

Но в этот момент их творческая дуэль была прервана. Дверь в комнату внезапно с треском распахнулась, и на пороге появился шофер Вася Сухов. Овчинный полушубок его был широко распахнут, так, что мех торчал клоками наружу, зимняя шапка с подвязанными сверху ушами съехала куда-то набок и на затылок, что придавало разбойную лихость коренастой фигуре, глаза блуждали, словно в поисках жертвы.

Песня невольно прекратилась, все повернулись к двери. С секунду Вася стоял на пороге и смотрел на хор, а хор на него, потом, набрав воздух в свою широкую грудь, словно кидаясь из бани в прорубь, гаркнул:

— Мать вашу! Сколько можно доктора ждать? Вызов три раза объявляли, полчаса в машине мерзну, больной повесился, не дождался врача!

— Селектор! — очнулся Спиркин. — Вызов по селектору не расслышали! Увлечлись, запелись! — розовый туман эйфории стремительно рассеивался, и он недоуменно огляделся, ведь только полчаса назад он был категорически против пения!

Поднялась Анфиса Петровна.

— Товарищи, товарищи, тихо, спокойно... какая бригада на вызов?

— Да Сидоркина, тринадцатая... — скривился шофер.

— Доктор Сидоркин, прошу на вызов, — пригласила Анфиса Петровна, — а мы, товарищи, продолжаем репетировать. Петр Иванович...

— Ну что там еще такое, Василий, — недовольно спрашивал уже в холле Сидоркин, застегивая на ходу пальто. Василий сморщился снова, будто проглотил кислое.

— Да не повесился — отравление.

— Любишь ты, Василий, эффекты, а тебе бы в хоре петь, — покачал головой Сидоркин, — ты же прирожденный артист...

— А видал я ваш хор там за горизонтом, там-тарам-там-там, — ответил Вася.

Минут через пятнадцать Спиркин шел домой. Петр Иванович семенил рядом со своим огромным баянным футляром. Им оказалось, к несчастью, по пути. Петр Иванович очень любил поговорить о медицине, всегда обеспокоенный состоянием собственного здоровья, задавал различные вопросы, и Спиркин отвечал, не всегда внятно, пытаясь отделяться по возможности односложными «да» или «нет». Он устал. Они шли вдоль шеренги пятиэтажек, однообразных и скучных, как бред параноика, бесконечно повторяющего одну и ту же бессмысленную фразу.

Худрук вытащил смятую бумажку и, показывая Спиркину, озабоченно спросил: «Вот мне врач выписал рецепт, скажите, а это для жизни не опасно?»

— Это ж обычное средство от простуды, с чего вы взяли? Врач-то, наверное, вам объяснил?

— А я ему не верю.

— Почему же? — удивился Спиркин.

— Вы знаете, — сказал вдруг Петр Иванович, — я человек простой, вы на меня не обижайтесь, но я честно скажу, что все врачи — убийцы!

— Как так? — опешил Спиркин. — С чего вы взяли?

— Убийцы, убийцы, — твердил Петруша, — не переубеждайте меня, я много случаев знаю, все убийцы!

Спиркин посмотрел на него: Петрушина челюсть тряслась, глаза стали еще более пустыми и смотрели куда-то в точку. «А ведь он настоящий алкоголик, — подумал Спиркин равнодушно. — Такому и по морде-то дать как-то не по-гиппократовски».

— Дальше мы разойдемся, — сказал он.

— Да-да, мне как раз сворачивать, до свиданья.

— Будьте здоровы, — сказал Спиркин.

Когда он подходил к дому, шел тихий снег, уже покрывший землю напротив подъезда нетронутым следами слоем. И, вдохнув холодную свежесть, он вспомнил, что сегодня Воскресенье.

Мгновение

Однообразно шумела, вихрясь, пенистая река, пушистая белая пыль взметалась под побелевшими тяжелыми туристскими ботинками и, долго не рассеиваясь, тянулась на много метров позади дымным шлейфом, — особая азиатская пыль, сухая и тонкая, как порошок, которую не встретишь ни на Кавказе, ни в России. Кое-где узкой зеленой полоской жался к воде кустарник. Через каждые 45 минут останавливаюсь в его заманчивой тени, где кухонно-печную жару, источаемую раскаленными горами, вдруг перебивает стылое дыхание ледяного брызжущего потока, но тут же мелкими гвоздями начинают долбить тело комары, пробивающие даже ткань штормовки.

За спиной огромный красный зуб с белой снежной пломбой у верхушки — пик Сахарная Голова. Тянулись и накапливались слоновьей тяжестью в ногах часы, и, кажется, ничего не происходило, если не считать проплывшего в густой синеве между обелисками косым черным крестом стервятника, широко раскинувшего прямые, с траурной, слегка завивающейся бахромой на концах, крылья. Он плыл в потоках воздуха, не шевелясь, будто движение его совершалось лишь усилиями его желания, и когда плоскость крыльев наклонялась под определенным углом к солнцу, она зеркально вспыхивала, будто состоящая не из отдельных перьев, а литая из вороненой стали.

Я повторял путь воды — сверху вниз, путь Азии...

Вся эта гневная сила вольется в озеро Искандер-Куль, затем, вырвавшись из него, пробив скалы, рухнет чудовищным обвалом, образует новую реку, вбирающую в себя многие другие потоки и выходящую на равнину, и потечет широкой, покойной Аму-Дарьей через пустыню, чтобы влиться в Аральское море, море-озеро, умирающее, никуда не ведущее. Из поднебесья вниз и в обход, по наименьшему сопротивлению, в никуда...

О, Азия, так и не признавшая истины, воплотившую в себя священную сострадательную боль человечества! Не потому ли здесь кажется так особенно одиноко, тоскливо и скучно?

Около пяти вечера дышать неожиданно стало легче: жара отпускала, а онемевшие ноги продолжали работу почти автоматически. Явственнее стал ощущаться постоянный пряный запах этих гор, напоминающий

полынный, только сладковатый: лишайные пятна на камнях — то ли мох, то ли птичий помет, — кажется, именно они источали столь необычный полынно-сладкий дух... Красные ягоды эфедры на тонких зеленых волосках... Колючие листья алоэ, торчащие у основания обрывов, будили мексиканские ассоциации...

Быстро семена, перебежала тропу дрофа с выводком... Давно уже исчез пик Сахарная Голова, поток превратился в широкую мутно белую бурливую реку, в перспективе ущелья прорезался розовый клык горы Дива, у основания которой расположился кишлак Сары-таг — первое человеческое поселение на пути потока... А по сторонам ущелья все те же красновато-бурые горы, ветчинно-слоистые.

И тут я увидел! Склоны горы на другой стороне реки истыканы черными дырами — входы в многочисленные пещеры — настоящая многоэтажка пещерных лет, в которой могли бы свободно разместиться сотни человек, возможно и служившие в незапамятные времена убежищами племенам в дни нашествий. Не похоже, чтобы это было созданием природы... Что таят они? Каким сгинувшим народом созданы? Их неразгаданная тайна смущала. Угрюмо они смотрели мне в спину, когда я вышел на небольшое травянистое плато.

Жаркий воздух стал нежно-теплым, комнатным, в его сухости оставался тот же пряный сладковато-полынный запах этих гор. Все, все в этот тихий замерший час — и солнце, и горы, и черные глазницы пещер, — говорило о безмерном масштабе времени и пространства. Вернулось кажется навсегда забытое из сумерек младенчества ощущение тоски и одиночества. Того одиночества, когда теряется даже имя...

Что жизнь для нас? — вопрошалиobeliski гор.

И тут я вспомнил: если представить четыре с половиной миллиарда лет истории нашей планеты сжатыми в одни сутки, то жизнь начинается в 4 утра с появлением первых простейших многоклеточных, перед 10 часами на суше начинают подниматься растения и менее чем за два часа до конца суток появляются первые сухопутные животные, а люди появляются за минуту и 17 секунд до полуночи. И в этом масштабе вся наша писаная история продолжалась бы не более нескольких секунд, а жизнь отдельного человека неуловимое мгновение, вспышка...

И в этот момент я почувствовал неожиданную первородную слабость, беспомощность. Все тело будто стало позорно ватным, казалось, теперь меня одним мизинцем сможет столкнуть с ног и ребенок. Я стал тоскливо легким. Я чувствовал, как в спину мне смотрят глазницы пещер, чувствовал, слышал смех вечности...

Отшагав так около получаса, я вышел на край плато. Внизу извивалась белая дорога, по которой двигался грузовик с номерными знаками на крыше кабины. Грузовик был сравнительно далеко, и я рассчитал, что успею добежать до него вниз по тропе. Я знал, что если меня заметят, он остановится: там, где людей мало, начинает действовать закон взаимного их притяжения, и с радостью, что есть духу бросился вниз бегом по серпантинке, чувствуя, что вновь обретаю имя и как закладывает от быстрого спуска в ушах.

Машина остановилась в том месте, куда я сбежал.

— До Искандер-Куля довезешь? — спросил я водителя таджика. Его кабина была занята пассажиром, и он кивнул, показав в сторону кузова. Забежав за грузовик, я кинул свой рюкзак в кузов подхватившим его улыбающимся таджикским мальчишкам и влез туда сам. И мне этот водитель и эти мальчишки показались удивительно близкими с их готовностью помочь незнакомцу. Я снова прилепился к большому комку, называемому человечеством, от которого на какой-то миг отпал.

Одуванчики улетят...

Раннее летнее утро, когда в мире еще нет ничего лишнего: чистое солнце, чистое небо, одноэтажные деревянные домишки вдоль пустынной в этот час автодороги внутри квартала — скромное безмолвие. По улице возвращается домой с ночного дежурства на скорой помощи молодой доктор, лишь год назад получивший диплом. Усталости как не бывало, наоборот, в этот час все чувства и ощущения необычно обострены: мышечная бодрость, мышечная радость, уверенность, запахи быстро нагревающихся трав вдоль дороги с возбуждающей примесью бензина, россыпи ярко веселых желтых одуванчиков. Да, дежурство прошло как нельзя более удачно: он диагностировал кишечную непроходимость у женщины со странной фамилией Советская и вовремя доставил ее в больницу хирургам. Впереди законный отдых. И вообще до сих пор даже не верится, что впереди никаких зачетов и экзаменов, тяжелой зависимости от любого, самого убогого преподавателя, во власти которого испортить твою жизнь! Эх, хорошо быть молодым и свободным! И как приятно так просто шагать, самим собой любясь: подтянутый, стройный, легконогий, в модном клетчатом пиджаке, красивый — с франтоватыми усиками.

На некоторых окнах вдоль дороги старенькие, с досоветских — наличники. Это ничего, что город невзрачный — зато у него в душе сейчас красота. И радость от сознания, что он будет так себя ощущать еще долго, очень долго, еще много, много-много раз...

Но вдруг... сердце на миг всхлопнуло: а что если ВДРУГ: неизлечимая болезнь, несчастный случай, да мало ли... И он будет лишен вот этого простого счастья? Ах, как нехорошо, не вовремя вспомнил, аж скулы свело!.. Но как же другие люди живут, старики, например, слепые?.. Вот его отец уже много лет не выходит из квартиры... Хотя мог бы вполне выйти, прогуляться хоть раз в день в ближний скверик! Но нет, целыми днями лежит на диване, возьмет то одну книжку или газету, начнет читать и через пятнадцать-двадцать минут книжка на пол валится... Даже к своему любимому Льву Толстому интерес потерял, к тому с его перепиской! Ну и зачем так жить? Кухня, туалет, диван... А вчера потряс, когда они вместе на кухне случайно оказались: вдруг обычно молчаливый, скрытный, выкрикнул неизвестно кому, в стену с дешевыми цветочными обоями, без видимой причины, не свойственным ему голосом обиженного ребенка: «Я так люблю жизнь!» А какую? Таковую, как у него? — Да лучше бы так вовсе не жить, не раз думал сын. А вот отец, оказалось, по-иному считал! А он бы так, наверное, не смог бы!

А сейчас внезапный внутренний страх за состояние чудесной незаменимой машины тела охватил его столь явственно, что ему за себя аж стыдно стало — он никогда не хотел быть трусом! И, чтобы себе доказать обратное, время от времени совершал поступки, в которых рисковал этой самой столь горячо любимой телесной машиной: то лез в горы, то в штормовое море, в котором чудом не утонул, то прыгал с парашютом... Друзьям бы и в голову не пришло считать его трусом... Даже дрался с беспощадным пролетарским хулиганьем, но никто тогда не узнал, какая у него нервная трясушка была после того случая! Да, друзья его трусом, слава Богу, не считали. Но он один знал, что этот страх не уходит, а лишь до времени затаивается!

Он ведь прекрасно помнит тот ужас ожидания, который охватил его, когда на спине появилась откуда-то крупная родинка и брали биопсию — рак или не рак? И ту неприлично животную радость, когда сообщили, что атипичных клеток не найдено!

Но что за глупость расстраиваться из-за того, что лишь только может случиться и тем портить себе настоящее, портить такой замечательный день? К чертям страхи, он не убоится радости, ведь небо такое ясное, одуванчики так весело желтеют на своем кратком веку, что, глядя на них, хочется улыбаться!

Он вновь уверенно и легко зашагал вдоль стареньких одноэтажных домишек, потемневших от времени, похожих на церковных старушек, будто вспоминающих досоветскую юность и провожающих его легкими вздохами. Нет, он не будет грустить напрасно!

Идущая навстречу женщина, еще не пожилая, но с раздавшимися плечами и толсторукая от вечной оттяжки сумками, неожиданно молодо посмотрела на него и сказала:

— Ну и красавчик! Красавчик!

А он почему-то смутился, и кровь хлынула в лицо.

Ласточкино Гнездо

В Крым пришла осень. Игрушечный замок-башня Ласточкино Гнездо белеет на фоне потемневшего моря с пологими крупными валами, а небо еще бледно-голубое, с лета выцветшее. У входа в замок какие-то контейнеры, самосвал подъезжает, мужики в шортах лениво расхаживают — ремонт! Сказка и проза! Дальний белый теплоходик исправно вспенивает каждый вал, тыкаясь в него носом. Ветер! И здесь наверху трепещет ветка акации и лоскут бумаги, оторвавшийся от контейнера... Мне кажется, я вдыхаю сухой кипарисово-хвойный запах и запах цементной пыли от стройки, хотя я в своей комнате в Москве, а вижу на экране происходящее там, в Крыму, через вебкамеру именно сейчас, сию минуту.

Когда был я там? Боже мой! Столько лет назад, а точнее 46 или 47 — почти полвека! Студент-медик на летних каникулах. Август... Нет, то был не я, а совсем другой человек... С такими же, как и я, студентами проводил время. С другом Валерой из энергетического института, длинным, худым и скуластым, похожим на Максима Горького.

У подножия гигантской скалы с коронованной зубцами башней-дворцом из сказки — пляж с зеленоватой бухтой, лодочная станция.

Идея возникла сразу — взять лодку, чтобы посмотреть на эту красоту с моря. Мы оплатили два часа прогулки, оставили в залог паспорта, что было обычным в то простецкое время, и нам выдали весла.

Скоро нас приняла зеленая зыбь бухты. Замок над нами со своей зубчатой короной на самом краю огромной скалы, над обрывом, казался то ли падающим, то ли взлетающим. Море за бухтой стало ярко-синим с мелкой штилевой волной. И как только мы подплыли под замок, сразу — открытие! — в скале обнаружился естественный грот. Ввели в него лодку. Зеленая вода в гроте суетливо плескалась, на коричнево-золотистых готически сходящихся вверх мокрых стенах весело танцевали ее блики. Однако, едва мы прошли еще на лодку вперед, как, к нашему разочарованию, уткнулись в тупик. Вышли в море, а рядом еще один грот! Но он оказался маленьким, едва лодка могла в нем поместиться — сия квартира однокомнатная.

Теперь в открытое море! Лодка двигалась легко, и скоро мы очутились в километре-полутора от берега, сместившись на запад от Гнезда.

— Может, искупнемся? — предлагаю Валере.

— Ты давай, а я не хочу.

Я вылез, плюхнулся, проплыл метров десять и остановился. Вода была настолько прозрачной, что, стоя в ней, я четко видел каждый палец на ногах, а ниже сгущалось густое, синее... Приятно щекотало сознание, что под тобой сотни метров синей бездны, казалось, что чувствуешь родственность со стихией. Проплыл еще немного и повернул к лодке со скучающим на веслах Валерой. Я плыл обычным брассом, но, странное дело, лодка не приближалась, будто какая-то неведомая сила оттесняла меня. Перешел на кроль, но лодка придвинулась еле-еле.

— Слушай, — остановился я, — здесь какое-то течение, что ли...

— А, — сказал Валера, — ну я тогда поплыл обратно...

— Значит, друга утопишь?

— Ага, — согласился Валера, берясь за весла, я перешел на кроль, и лодка стала приближаться.

Наконец вполз в лодку.

Мы огляделись на приметы берега и обнаружили, что находимся сильно западнее Гнезда. Валера работал веслами, но минут через десять я отметил по скале на берегу, что мы не двинулись с места.

— Дай погребу! — заявил я. — Мы на месте стоим!

Поменялись местами.

— Слабак! Тебе надо на значок ГТО сдавать, — взялся я за весла.

— Ты греби-греби, — помахал рукой Валера и зевнул, — а я подремлю, меня море усыпляет, видно, много брома...

Я и в самом деле был уверен в себе: руки у меня были толще и мускулистее, чем у Валеры.

Через десять-пятнадцать минут моей работы я увидел, что мы также нисколько не продвинулись относительно скалы, ориентира на берегу.

— Валер, елки-моталки, чо-то стоим!

Про морские течения я только в книжках читал... Морское течение — это река в море, только без берегов, на глаз его никак не обнаружить — всюду, куда ни глянь, штилевое море с мелкой, детской волной.

Мы и не знали, что попали в береговое течение, которое шло от Турции вдоль берегов Кавказа, вдоль Крыма и поворачивало в открытое море где-то у мыса Ай Тодор, и у берегов Анатолии замыкало гигантское колесо.

Уже мелькали мысли о нашей печальной участи. Придется плыть по течению, срезая к берегу, высадиться западнее Гнезда и посуху, с позором флотоводцев, потерявших корабль, явиться на лодочную станцию...

— Давай вместе попробуем!

Мы сели рядышком: Валера взял правое весло, я — левое и... рванули! С радостью увидел, что скала на берегу стала нехотя отдаляться. Мы гребли, не переставая, минут тридцать, не давая себе отдыха, и вдруг увидели, что Гнездо стало быстро приближаться: лодка вырвалась из объятий морского течения!

Мы были горды собой, получая на станции паспорта, горды свежими красными мозолями на ладонях.

А теперь вверх, в Гнездо! Праздновать!

Поднялись по склону и подошли к сказочному замку, однако нас ожидало небольшое разочарование. Над входом в сказку висела табличка: «ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ИНОСТРАНЦЫ!» Впрочем, мы даже не слишком расстроились, ведь мы уже тогда отделили себя от государства, из всех сил навязывающего очень несимпатичные представления о красоте, добре и правде. Благо, между стенами Гнезда и перилами с балясинами стояли легкие столики, где советским гражданам дозволялось пить красное каберне. Мы взяли по стакану, и я почувствовал, что в такой момент надо что-то сказать: «Так выпьем же за то, чтобы наша дружба была так же высока, как эта скала!» — сказал я, тут же почувствовав глупую пафосность этих слов, но других в тот миг не нашел. Мы не завидовали тем, кто сидел в ресторане Гнезда. Нас овеивал солоноватый свежий ветер, нас радовало красное вино с кислинкой, перед нами были распахнуты горы и море, истинные красота, добро и правда, даруемые любому.

Прошли годы, десятилетия, наши пути разошлись, не удалось удержать дружбу, и в этом повинен я... и снова, и снова я со стыдом вспоминал свой глупый восточный пафос!

Когда молод, все, кажется, можно изменить, исправить, заново перекроить! Но приходит миг, и упираешься в глухую стену, и хоть кричи, хоть кулаки разбей... и лишь тогда понимаешь это страшное слово — НИКОГДА! Тогда и жить не хочется, и гордости нет, живешь

со снятой кожей, без ощущения себя, с внутренней пустотой, реальна одна боль от каждого движения, от каждого слова, спасителен только сон... Но надо терпеть — медленно, медленно нарастает новая кожа, медленно наполняется пустота, и ты становишься другим по молекулярному составу, по ощущениям, по убеждениям, по любимым книгам... И не одну такую жизнь порой надо прожить, чтобы постигнуть главное: все — Тайна, и в удивлении этим миром — Счастье!

Слава труду!

— Аветисянц, — грохотал учитель труда, — ты на кой черт это натворил!?

Я же стоял посреди класса с верстаками, понутив голову.
А действительно на кой? — я и сам не мог себе на это ответить.

А ведь все было так хорошо: страшную математику неожиданно отменили, заменив сдвоенным уроком труда. И не то чтобы ребята, включая меня, души не чаяли в этом предмете, но просто тут можно вполне законно побездельничать. Хотя нашего учителя труда все в школе побаивались. Звали его Геннадий Иванович Терешкин. Ходил он, как и все учителя труда, в синем халате и в синем берете с нелепым хвостиком (только такие с хвостиком и были в продаже). Но как не шли этот дурацкий хвостик и халат унисекс, как сейчас сказали бы, к его выправке и обветренному мужественному лицу маримана (его морское прошлое убедительно доказывал синий несводимый якорек на кисти правой руки). Ему бы стоять на капитанском мостике, зорко всматриваясь морским биноклем в горизонт, и отражать тайфуны, но какая судьба привела его в этот сухопутный город за тысячу километров от моря и вынудила носить это почти клоунское одеянье? Было неизвестно, почему благородную борьбу со стихиями ему пришлось сменить на серенькую однообразную жизнь учителя труда в нашем скучнейшем небольшом городе.

Был он немногословен, вел уроки аккуратно, выполняя программу подготовки для страны новых рабочих. Для этой цели в классе вдоль окон в ряд стояли даже токарные станки, правда, работать на них практически никого не заставляли, опасаясь, видимо, травм учеников и порчи оборудования.

В хорошем расположении духа ребята нашего класса спустились к закрытому кабинету труда (Терешкин задерживался). И тут в коридорчике перед дверью в кабинет я увидел кипу деревянных реек. Здесь же на станине находились огромные стальные ножницы для резки металла или еще чего. Вот это еще чего мне моментально захотелось

испробовать, испытать, а что могло для этого подойти лучше лежащих тут реек? Я взял одну рейку, и ножницы с легкостью перекусили ее пополам. Захотелось попробовать еще раз... Тюк да тюк! Тюк да тюк! — и минут через семь количество реек удвоилось, хотя каждая оказалась вдвое короче прежней...

Как появился Терешкин, я уже не помню, но когда он увидел плоды моего труда, быстро загнал всех в класс, и разразился ураган! Казалось, его побелевшие глаза приплясывали, а голос непременно разбудит мертвых на городском кладбище. Но к чести сказать, морская выдержка и тут ему не изменила: ни слова мата, хотя душа его явно кипела еще более от невысказанности.

— Ты можешь объяснить, зачем ты это сделал? — который раз вопрошал он, а ребята нашего класса веселились и хихикали, получив представление вместо занятий.

— Что ж ты наделал, уже вымахал какой, а думать совсем не научился!?

Но Терешкин не был бы моряком, если бы не нашел никакого художественного выражения:

— Ну чем ты думал, чем? — гремел он. — Яйца уже мохом поросли, а не соображаешь!

И тут грохнул смех. Ржали все, от самых последних двоечников до хорошистов, лишь наш единственный отличник Виталя Вайсберг тонко улыбнулся, а меня обдало жаром стыда, будто Терешкин разом обнажил перед всеми мою позорную тайну раннего полового созревания.

Не помню, с какого класса у нас начались уроки труда, но началось все не с железок, а с дерева, и преподаватель был другой, тихий мужик со сливовым носом. Эти уроки мне даже нравились: нравилось, как пахнет дерево, как из рубанка вылетает свежая стружка, и шершавость становится на ощупь гладкой, как зеркало. Целый год мы трудились: сначала создавали чертежи, потом шаг за шагом двигались к заветной цели — созданию одежной вешалки! Лучшая из вешалок, как невнятно обещал сливовый нос, попадет на выставку. И надо же, лучшей из всех вешалок была признана моя! Я уже грезил выставкой и славой...

Конечно, на ВДНХ я не претендовал, но, возможно, есть музеи и выставки поскромнее, где мой шедевр занял бы заслуженное место? Но на мои вопросы, где же я могу увидеть свое творение, учитель бормотал что-то невнятное, вроде: «уже отвезли», «туда далеко», — скорее всего, наши вешалки были розданы преподавателям школы. Ну и слава Богу.

Хуже у меня обстояло дело с железом: верстаком, напильником, ножовкой, зубилом — тут не было взаимности, хотя цель, ради которой мы трудились учебный год, была вполне достойной — создание совка для уборки мусора. И тут, конечно, вначале были чертежи на ватмане, а потом работа. Железа на один совок шло чуть меньше, чем на создание ручного пулемета. Получилось нечто фантастическое, чем вполне можно было оглушить пса рыцаря, если бы таковые осмелились приблизиться к школе. До сих пор помню эти сверкающие заклепки, соединяющие навечно ручку и ковш из листа легированной стали. Однако на каком-то этапе я что-то попутал, и из ковша агрессивно торчал острый стальной уголок.

Тут о выставке даже не намекали, и совки сразу поступили в личную собственность каждого учащегося. Мама смотрела на мое произведение с изумлением. И это выражение всякий раз появлялось у нее, когда она собиралась это орудие употребить для дела. «М-мда-а!» — говорила она, берясь за веник и покачивая головой. И тем не менее, при всей своей безобразности, чудо-совок прослужил дольше почти всех известных домашних предметов, не менее пятнадцати лет, и был оставлен лишь в связи с переездом на новую квартиру.

Трудовым воспитанием государство занималось серьезно: на заводах хронически не хватало рабочих по причине повального пьянства и безответственности. Радио и телевидение с утра до вечера взалхлеб твердили о каких-то славных «трудовых династиях», «трудовых подвигах», романтике перевыполнения плана, о самой высокой чести быть «потомственным рабочим», да и зарплаты у рабочих, как правило, были выше, чем у интеллигенции, врачей и учителей, что косвенно подчеркивало превосходство физического руда над умственным, однако вся эта шумиха и демагогия мало кого соблазняла. Во всяком случае, в нашем классе, кто учился хотя бы на твердую тройку, мечтал поступить в военное училище, хорошисты — в институты. Вообще к интеллигенции было отношение, как к «буржуазным недобиткам», классовым врагам, недаром удостоив ее в официальной социальной стратификации двусмысленного звания «прослойки».

И несмотря на усилия пропаганды конкурс абитуриентов в вузы год от года только рос.

Для вовлечения молодежи в рабочий класс в школьной программе предполагалась экскурсия на завод. А заводов у нас в Подольске было много: штук десять только общесоюзного значения, не говоря о меньших. Подольск был типичным пролетарским городом, которых в средней России были сотни.

Завод, на который нас повели, был самый старый, дореволюционный, о чем свидетельствовало число «1914», выложенное светлым кирпичом на одной из пылящих гарью над цехами труб. До революции 1917 года завод выпускал известные по всей России швейные машинки фирмы «Зингер». Какую продукцию он выпускал ко времени нашей предполагаемой экскурсии, нам не объяснили, скорее всего, как и большинство заводов города, продукцию военного назначения, всегда скромно именуемую оборонной.

Я помню узкую желтую проходную с плакатом «Слава Труду!» и ленинским профилем. Затем мы попали в цех. Это была огромная и мрачная бетонная коробка, внутри какой-то движущийся конвейер с непонятными деталями. Вдоль конвейера почему-то стояли одни женщины в синих халатах. Их вид меня потряс: бледные нездоровые лица с темными подглазьями, и общее выражение какой-то обреченности и безнадёги. На нас они смотрели молча, с усталым равнодушием.

Впечатление мое было столь оглушительным, что, вернувшись домой, я заявил, что ни при каких обстоятельствах не буду рабочим, и еще более налег на учебу.

К тому времени мы хорошо запомнили, как нас учили, по Марксу: «Труд сделал из обезьяны человека». Получалась, однако, неувязочка: если пролетариат самый прогрессивный класс человечества, то физический труд важнее умственного? А как же тогда самолеты, подлодки, ракеты, полеты в космос, радио, телевизор и прочее? Речь, письменность и книги, наконец? Да и на прогрессивный класс пролетарии Подольска не очень тянули: после семи вечера из проходных заводов выливались потоки рабочих и вливались в гастрономы, выстраиваясь в огромные очереди за водкой или портвейном. По улицам было ходить в это время было неприятно и даже небезопасно — везде пьяные, ор, мат, нередко и драки... В целом я сейчас понимаю, что зря этих людей презирал — несчастные, обманутые лозунгами люди! Часа через два пьяного буйства город затихал, и поздно вечером можно было ходить по улицам совершенно спокойно: большая часть населения, сраженная зеленым змием, утрачивала способность мыслить и передвигаться.

Однако то, что умственный труд гораздо сложнее владения лопатой, было для меня с самого начала очевидно. Иногда нам поручали вскопать клумбы цветников у школы, где потом расцветали желтые ноготки с медовым ароматом. Я вонзал в землю штыковую лопату и выворачивал очередной ком земли, блестящий гладким сырым пластом. Да, решить домашнее задание по математике и понять новую тему по химии мне казалось куда более сложным и трудным, чем вскопать десять таких клумб! К тому же умственный труд почти всегда связан с постижением

чего-то нового, а не то, что убивающе однообразный труд у конвейера и с лопатой, хотя в тот день вскапывание клумбы под веселым весенним солнышком вместо урока грозной царицы наук — математики — было только в радость.

Три родины

О моем рождении знаю, конечно, со слов мамы.

«Поезд пришел в Таллин утром, из вещей у нас был один чемодан со сменой белья. От вокзала мы разу пошли на Вышгород, в министерство. Павел пошел в министерство, а я осталась в скверике у стены его ждать. Я присела на лавочку, а рядом в песочнице эстонские дети играли, и тут я впервые подумала: у меня будет ребенок, и обязательно мальчик! А до того я детей заводить и не собиралась».

Я знаю это место: был там полвека спустя — ничего не изменилось: тот же сквер и песочницы, в которых играют светлоголовые эстонские дети, у стены Вышгородского Замка с угловой самой высокой его башней Длинный Германн. Выходит, ментально я родился летом 1950 года в ста-ста пятидесяти метрах от башни Длинный Германн. А физически я родился летом 1952 года, 15 июня, в пору серебристых белых ночей.

Роды были тяжелыми — тройное обвитие пуповиной, и меня еле откачали руки эстонских и русских докторов. Мама написала отцу в записке, что родился черный, волосатый, некрасивый мальчик. Отец вместе с огромным букетом ароматных пионов прислал ответ: «он будет самым красивым!»

И вправду, волосы быстро опали, я побелел, потолстел и в раннем детстве не раз становился объектом восторгов даже сдержанных эстонок: «Ах, какой красивый ребенок!»

Мы жили в двухэтажном финском домике на четыре квартиры на улице Херне, между центральной республиканской больницей и огромным кладбищем, более похожим на лесопарк.

Отец работал главным хирургом республиканской больницы, мама заведовала детскими яслями и детским садом от завода «Двигатель».

Лишь в последующие приезды в зрелом возрасте, посещая это кладбище, я обнаружил, что 7 лет жил в 200-300 метрах от могилы поэта Игоря Северянина. Стоя рядом с могилой, я видел между стволами кленов близкий забор, над которым выступал второй этаж дома, где мы жили, и окно кухни нашей бывшей квартиры.

В то время, да и сейчас, это старинное кладбище совсем не оставляло чувства уныния и печали, как это бывает обычно в России, а походило больше на парк — чистые песчаные дорожки с улитками, раскидистые клены, гранитные и мраморные надгробия и памятники от начала XIX века. И я нередко вызвал улыбку у своей няни, чудесной русской женщины Полины Ивановны Киселевой, просьбой: «Ба, пошли гулять на кладбище!»

С мамой мы совершали более далекие прогулки — по городу, и любимой была прогулка к памятнику «Русалке», русскому броненосцу, погибшему в шторм в XIX веке — на розовой гранитной скале стояла крылатая девушка-ангел из черного мрамора, простирающая крест в сторону моря, которую я поначалу принимал за сказочную русалку, удивляясь и жалея, что у нее нет рыбьего хвоста. Отсюда открывался вид на море и на город — с клювами портовых кранов, каменным скопищем домов и шпилями храмов, будто тянущих землю к небесам. Помню одну из таких прогулок. Пасмурный холодный день. Стальное суровое море волнуется, и то тут, то там меж волнами неожиданно возникает на несколько мгновений что-то серое, плоское, будто проскальзывает спина какого-то подводного чудища.

«Рыба! — кричу я в восторге, представляя себе кита из детской картинки. — Ма, посмотри! А вот еще! Там! Видела?»

«Да нет, это камни», — смеялась мама, но я ей тогда так и не поверил.

Мы брали с собой на эти прогулки бутерброды с белым хлебом и жареной салакой, завернутые в газету. Сиделись на лавочку напротив моря и ели — кажется, за всю жизнь я не пробовал более вкусной рыбы.

И самыми вкусными были впервые отведанные шпроты, и самыми вкусными были великолепные эстонские ватрушки и молочное мороженое в фойе кинотеатра «Сыпрус»...

Иногда за отцом приезжал огромный черный правительственный «ЗИМ» и увозил его консультировать какого-нибудь большого партийного начальника. В благодарность начальники пару раз позволяли отцу покатать меня на этой чудо-машине вдоль залива. Когда я впервые вошел в нее, мне показалось, что я вошел в комнату.

Был солнечный день, мы ехали по шоссе вдоль дуги залива. Вдали через открывшееся светло-голубое морское пространство тянулась к городу вереница судов, на мелководье у берега из сверкающей серебром полосы воды выступала россыпь валунов, за которыми поднимались решетчатые конструкции портовых кранов, над ними шпили и башни города. По мере того как машина уходила дальше в сторону Пирита, город раскрывался, будто сложенная гармошка раздвигалась,

растягивался, образуя неповторимый, западающий в сердце силуэт, проакцентированный башнями, шпилями, куполами, с доминантой Вышгорода в центре, силуэт, еще не нарушенный чужеродной глобальной геометрией гостиниц «Виру» и «Олимпия» и позднейшими небоскребами банков, вторгшихся совсем близко к центру Старого Города.

Иногда мы с отцом и мамой выезжали погулять в Пирита, бродили по сосновому бору, меж стволов которого показывалось сиреневое море, слушали шум сосен, сливающийся с шумом волн. Мы выходили на песчаный берег, иногда, когда было тепло, купались... А морской простор в зависимости от освещения и ветра из обычного стального в иные дни мог быть светло-голубым, холодно синим, фиолетовым, зелено-бурым в ветреную погоду с косматыми желтыми гривами волн...

Надышавшись сосновым и морским воздухом и пообедав в ресторане, расположенном на автобусном кругу, мы возвращались в город.

Во дворе дома я играл в песочнице с эстонскими одноклассниками — Раулем и Каупо. На голове у Рауля было что-то в виде летного шлема, на Каупо была шерстяная вязаная желто-зеленая шапочка с огромным желтым помпоном. Мы что-то строили, общались. И незаметно происходило таинство овладения иным языком. Я не знаю как, но я стал их, говорящих по-эстонски, понимать. Если вдруг они не понимали какое-то слово по-русски, я бежал к тете Асте, сидящей рядом на лавочке, пожилой сухощавой эстонке, которая что-то вязала и присматривая за детьми, и спрашивал, как это слово будет по-эстонски, она говорила, я возвращался в песочницу обогащенный, и игра продолжалась.

Однажды отец, мама и я куда-то собрались и, выйдя на улицу, стали ловить такси. Машина появилась, но в ней уже сидел один пассажир, вальяжно и удобно раскинувшийся на заднем сидении. В принципе, места хватило бы и для нас, пассажиру пришлось бы немного потесниться, но водитель вдруг усмехнулся. «Ну что, будем их брать или нет?» — спросил он пассажира, и мне это не понравилось. Кажется, нам пришлось дожидаться другой машины, но меня удивило полное отсутствие какой-либо реакции у отца. Ситуация показалась мне обидной, и я спросил его, почему они так говорили.

«А ты что — знаешь эстонский?» — удивился отец. «А ты не знаешь?» — удивился я тому, что мои боги, родители, могли не знать чего-то, что знал я.

О войне языков я еще ничего не ведал.

Свои армянские корни я осознал гораздо позже, в школьном возрасте, когда мы уже жили в подмосковном Подольске, куда стали наезжать

родственники отца, и в студенчестве, когда я стал читать книги по истории армянского народа. Тогда я впервые посетил такую не похожую ни на Эстонию, ни на Россию каменистую и солнечную Армению.

На самом деле, я считаю, у меня три родины, каждая из которых дорога особым созвучием: Армения — прародина, родина моего отца и предков священников; Эстония — родина физическая, где я прожил первые 7 лет своей жизни и успел впитать в себя любовь к ее задумчивой, суровой северной природе, мягким полутонам, обрести первые понятия и образы; Россия — родина духовная, интеллектуальная, с ее великой литературой, бездонным языком, великим пространством...

А великая беда, трагедия Армении, осколком которой была судьба моего отца, пробудила и обострила в моем сердце жажду Правды и Справедливости.

Выполняя приказ

Военком города Ворошиловграда Нечипоренко сидел за письменным столом, обхватив голову. По левую руку на столе был черный телефон, по правую лежал пистолет системы тэтэ. Дверь в комнату открылась, и на пороге появился рыжеусый старшина Головков, стреляющий бешеными светлыми глазами.

— Ну? — только спросил он.

Военком опустил руки и, посмотрев на старшину, ответил:

— Телефонограмма получена, всеми силами выдвигаться на станцию и удерживать.

Краснолицый старшина еще гуще покраснел:

— А чем удерживать? Одно пацанье у меня во дворе, многие винтовку в глаза не видели.

— Вот и не увидят — наши, когда из города уходили, весь арсенал обчистили, а что не смогли унести, так разбили или погнули, чтоб фрицам не досталось.

— Здорово! — зло ухмыльнулся старшина и шмыгнул своим картофельным носом.

— Я пытался объяснить, а меня матом покрыли... Приказ, орут, и все тут: любой ценой станцию удержать... Понимаешь, «любой ценой», а не исполнишь — трибунал!

- Господи! Так пацанье ведь! А я попробую звонить?..
- Связи нет.
- Твою мать! — выругался старшина. — Ну что делать-то, Иваныч?
- Сам не знаю, а приказ не выполнишь, сам знаешь.
- А это зачем? — кивнул старшина на тэтэ.
- Мне приказа отступить не было, а немец прет... сам знаешь...
- Так ведь на убой пойдем! — простонал старшина, потом будто что-то вспомнил. — А може у него, начальства-то, хитрость такая задумана, нами внимание отвлечь, а самим ударить...
- Шо за хитрость такая, шо несешь, ты где голову у начальства отыскал?
- Так шо делать-то... — растерянно спросил старшина.
- Как шо, приказ исполнять, иначе сам знаешь — суд да позор!
- военком немного помолчал и достал из карманов галифе папиросы, положил на стол. — Знаешь что, идите-ка вы до станции, а там как совесть подскажет...
- Понял, — сощурился старшина хитро, и сам подумал: «А там отпущу на усе четыре!..»
- Ну, тогда выполняй, — мрачно пробормотал военком.

Старшина вышел. Военком встал и подошел к окну, по двору слонялись призывники, некоторые с мешочками с нехитрой снедью, которую собрали родные в дорогу, многие в рубашках-вышиванках — совсем детвора. Вот появился старшина, они неумело выстроились перед ним, видно, старшина им что-то говорит, потом встал во главе колонны, и все двинулись со двора.

Военком снова сел за стол, будто что-то выжидая и прислушиваясь к странной тишине, поглядывая на портрет Сталина, будто испрашивая у него совета. Несколько раз поднимал телефонную трубку, но трубка молчала, несколько раз брал пистолет и, повернув к себе, вглядывался в дуло, будто ожидая что-то там узреть. Прошло около получаса.

Вдруг тихий стук в дверь.

— Входи! — крикнул военком.

В комнату вошел седой и широкий человек в белом кителе и с белой фуражкой в руках. Встал посреди комнаты молча.

— Что хотел? — спросил военком, приглядываясь к человеку и отмечая некоторое его сходство с портретом вождя на стене, — и усы такие же, и нос...

— Грузинец, что ли? — спросил военком.

Человек отрицательно мотнул головой:

— Не, армянин... Авдей Таривердович Мелконов зовут меня.

— А, — несколько разочарованно протянул военком. — Ну, какое дело?

— Повестка пришла, сыну моему, — человек протянул военкому бумажку.

Военком прочитал: «призывнику Григорию Авдеевичу Мелконову явиться к... утра в райвоенкомат для прохождения действительной службы...» Военком поднял глаза:

-Ну а сын-то где?

— Товарищ, — умоляюще взглянул на него Авдей, — у меня старший сын уже в Красной Армии, финскую кампанию прошел, а сейчас не знаю где, живой ли... Один у нас остался младший, Гриша, жена плачет, не отнимайте надежды... Можно мне вместо сына? Прошу меня мобилизовать! Вы не смотрите на седину, я троих молодых по силе стою, я свое пожил, а ему жить...

— Значит, ты вместо сына хочешь? — удивленно переспросил военком.

— Да!

Военком с минуту молчал, потом сказал:

— Знаешь что, отец родной, вали-ка ты домой и сына спрячь, здесь немцы вот-вот будут...

И, словно в подтверждение его слов, со двора донеслось тарахтенье моторов, и военком рванул к окну: во двор въезжали мотоциклы с колясками и на солнце блестели высокие немецкие каски мотоциклистов.

— Давай, давай, уходи! — махнул резко и нетерпеливо военком Авдею. — Только не беги — застрелят.

Красноватое лицо Авдея стало свекольным, и он, развернувшись, вышел.

Шагая через двор, он еле сдерживал себя, чтобы не побежать. Мотоциклисты громко между собой переговаривались, будто лаяли, и не обращали на него никакого внимания. Когда он уже выходил на улицу, за спиной из здания военкомата донесся одинокий выстрел, и слышались крики. Выйдя на пустынную летнюю улицу, Авдей

Таривердович все же не выдержал и побежал, затрусил до ближайшего угла. Завернув, он остановился отдышаться в жидкой тени тополя и, сняв фуражку, достал платок и вытер мокрую от пота лысину и лицо.

Отдышавшись, он зашагал дальше. Город словно вымер: на улицах ни души. Он старался двигаться ближе к стенам, не привлекая внимания, и вместе с тем чувствовал, что за ним наблюдают десятки глаз из окошек выбеленных, крытых красной черепицей хат. Стояла напряженная тишина, не слышно было со стороны станции обычных шипения и свистков паровозов.

Скоро он вышел на привокзальный пустырь с колодцем-журавлем посреди. У колодца две бабы с ведрами, а к колодцу мужичонка с бородой, согнувшись, что-то тащит. Пригляделся — человека за ноги тянет. Остановился, вытер пот. Авдей подошел и увидел в ряд выложенные тела — мальчишки в хилых одежонках, а тело в военной форме с голыми ногами (сапоги уже кто-то успел снять) лежало поодаль, лицом в сухую траву так, что только затылок был виден.

— Их командир, вишь? — сказал мужичонка, хотя Авдей ничего у него не спрашивал.

— Что тут было, веришь ли, — продолжал мужичонка, — гонялся немец за ними, как за зайчатами, на этих мотоциклах и порешил... Они вразброс были по поляне, а я их в рядок, — кивнул мужик на тела, — все ж не собаки какие, а люди, пацаны, а к смерти надобно уважение иметь...

— Стой, — добавил бородатый, — не беги...

Авдей обернулся. На тропку, пересекающую пустырь, выходила колонна молодых немецких солдат. Шли, несмотря на ранцы и винтовки за плечами, бодро и весело, многие сняв пилотки, будто возвращались с футбольного матча, где их команда выиграла. Шли, радуясь солнцу, молодости и легким победам. Впереди высокий голубоглазый блондин. Он, белозубо улыбаясь, показал рукой на тела у колодца, и в колонне послышался легкий смех и возгласы. Потом блондин, скинув ранец и винтовку, кинулся вперед, к колодцу, его примеру последовали другие. Блондин опередил всех, выхватил у женщины наполненное ведро и побежал, шутливо удирая от пустившихся за ним двух комрадов, держа перед собой ведро на вытянутых руках, потом остановился и под общий хохот стал выплескивать на них воду. Другое наполненное ведро пошло по рукам, вернее, по высохшим губам. И от этого веселья сердце у Авдея будто камнем придавило и солнце показалось холодным. А женщина стояла столбом, ожидая, пока они не наиграются и отдадут ведро. Лицо у нее было каменно-неподвижно, плечи покатые, руки

длинные от ежедневной тяжелой работы. Вторая женщина, прихватив пустые ведра, куда-то исчезла.

— Чисто дети малые, — хмыкнул бородатый мужичок, глядя на веселящихся немцев, и вдруг, перехватив чей-то взгляд, стал угодливо улыбаться и мелко кланяться, козыряя и повторяя: «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!..»

Неожиданно к телам убитых подбежала немолодая и прилично одетая женщина, в которой Авдей узнал живущую на соседней улице учительницу. Женщина сдавленно вскрикнула и опустилась на колени рядом с телом сына.

— Тарасик! Тарасик! — запричитала она, сдавленная ужасом, поглаживая голову с черными кудрями и красивым белым лицом.

Женщина вскинула глаза на Авдея: «Он утром обещал вернуться, обещал, что его не убьют, очень обещал, смеялся! Он героем хотел стать, радовался, что вызвали...» В глазах ее зрело безумие, раскачиваясь, начала ласкать мертвую голову и повторять, заклиная: «Вернись! Вернись! Ты обещал! Ты никогда не говорил неправду! Вернись же! Ты обещал! Ты никогда не обманывал!» А толстенький невысокий немец схватил коромысло и поднял над головой, показывая всем экзотическую невидаль, затем перекинул коромысло через плечи и стал весело приплясывать, вызывая хохот и одобрительные хлопки.

— Вернись! Вернись! — взывала женщина.

Авдей надел фуражку и, по-стариковски опустив плечи, побрел прочь.

Едва он вошел во двор, к нему кинулась жена.

— Ну? Ну?

— Сказали идти домой, Гришку не вызовут...

Гришка лежал в гамаке в придомном садочке и хрустел спелым яблоком, выплевывая косточки на землю. Завидев отца, он понял, что угроза отступила, и загрустил: надо же немцам сюда припереть, значит, сегодня танцев в клубе не будет и он не увидит Райку, с которой почти договорился.

Потом Авдей вошел в дом и позвал жену:

— Сирануш!

Войдя в комнату, он показал на висящее в рамочке над столом фото старшего сына, присланное сразу после финской кампании. Митя был в буденовке со звездой.

— Сними и спрячь, — приказал Авдей.

Обедали молча. Борщ, как всегда у Сирануши, получился отменный, но это Авдея не радовало. Неожиданно с улицы раздался треск барабанов. Гришка бросился к окну. По улице печатали шаг немецкие солдаты. Немецкий комендант приказал устроить этот парад и пройти по улицам города церемониальным маршем, чтобы показать силу Вермахта и что немцы здесь навсегда.

— Ух ты! — восхитился Гришка. — Красиво идут! А где барабаны — не видать!

Тяжелый кулак Авдея грохнул по столу:

— Прочь, прочь от окна!

Гришка отскочил от подоконника.

— Фуй! — воскликнула Сирануш. — С ума сошел, зачем на ребенка так кричать?

— Со двора никому сегодня ни шагу! — приказал Авдей.

— А ты, Григор, иди в подвал и до вечера там сиди, — сказал он и задумался: и почему Сирануш любит этого бездельника и шалопая больше старшего сына, серьезного, трудолюбивого Дмитрия?..

А со двора в открытое окно доносилось восторженно бессмысленное куриное кудахтанье: «Кооо-ко-ко! Кооо-ко-ко!..»

Валя Муга

Это и не рассказ даже...

Во время войны мой отец работал военно-полевым хирургом, прошел сквозь Ленинградскую блокаду от первого до последнего дня. Впоследствии их госпиталь бросали под Нарву, а потом на острова Выборгского залива. Финны дрались отчаянно, наши позиции, в том числе и госпиталь, где работал отец, бомбила их авиация (возможно, и немецкая). От того времени и сохранилась эта красноармейская газета с заметкой о моем отце Абрамянце Павле Леонтьевиче.

Дивизионная газета «За нашу Победу!» № 109, от 10 августа 1944 года. Хрупкая серая, пробитая шрифтом бумага с желто-розовыми пятнами оружейного масла от рук бойцов, ее державших, людей, которых уже нет на свете.

«ВОИН БЛАГОДАРИТ ВРАЧА.

В жестоком бою с лахтярами (очевидно, так презрительно тогда называли финнов, «лахти» по-фински — залив. — прим. авт.) тяжело ранило лейтенанта Сысоева. Спасая жизнь отважного командира, хирург Абрамянц произвел сложную операцию. Затем Сысоева направили на дальнейшее излечение.

Недавно он прислал письмо.

«Спешу, — пишет т. Сысоев, — передать Вам привет и поблагодарить за спасение моей жизни. Я сейчас нахожусь на излечении в госпитале. Здоровье мое улучшается. Здесь многие врачи радовались, что мне так хорошо сделана операция и интересовались, кто ее произвел.

Прошу передать привет всем вашим работникам.

Лейтенант И. Сысоев».

Лейтенант Сысоев, оперированный в бессознательном состоянии, выжил чудом и не мог знать обстоятельств своей операции. Отец рассказывал мне об этом случае и написал о нем в своих «Воспоминаниях военно-полевого хирурга», изданных в Санкт-Петербурге его внуком, сыном моей сводной сестры Натальи Павловны Абрамянц (от его довоенного брака) доктором медицинских наук Серповым Владимиром Юрьевичем.

В чуде спасения лейтенанта Сысоева, скрытого сухими официальными строками, было целых три чуда. Ранение в живот в то время, когда не было антибиотиков, почти всегда означало смертный приговор солдату, а Сысоев выжил.

Второе чудо было в том, что он выжил, несмотря на тяжелейшие повреждения: «...размозжение селезенки и множественные ранения тонкого кишечника на большом протяжении...», как пишет отец, еще один фактор для развития инфекции, перитонита (воспаления брюшины) и гибели пациента.

Но и это было далеко не все, что произошло во время операции. Вот как рассказывает отец: «Ассистировал мне недавно прибывший хирург К. Попов, у инструментального стола работала медицинская сестра В. Муга... И. Сысоев находился в бессознательном состоянии...

На заключительном этапе операции... медсанбат подвергся вражескому авиационному налету. Операционная сестра Валя Муга, стоявшая рядом и протягивающая мне хирургический инструмент, с криком рухнула и мгновенно скончалась от осколочного ранения в голову...» В разговоре отец говорил, что девушке осколком срезало голову, но записывать эту страшную деталь в воспоминания не стал: он надеялся, что воспоминания напечатают, а на дворе была советская власть, которая не слишком любила, когда авторы показывали ужас войны, вызывая

у людей к ней отвращение, другое дело — плакатный героизм, которым были полны наши книги и фильмы, и которые бывшие фронтовики, сколько я их ни знал, НИКОГДА не читали, не смотрели!

Не написал он по той же причине о том, что случилось дальше, а поведал мне только в беседе. Несмотря на погибшую медсестру и продолжающуюся бомбежку, операция продолжалась: прервать ее и оставить операционный стол по тогдашним законам было равносильно оставлению боевых позиций и каралось той же мерой — «высшей». Но наступил момент, когда стены зашатались. Тогда отец вместе с ассистентом схватили операционный инструментарий, ухватили лежащего на простыне Сысоева и выскочили из дома, который обрушился. Они бросились в ближайшую земляную щель, и там, в совершенно диких, антисанитарных условиях, в окопе с осыпающимися стенками закончили операцию. Они и представить не могли, что Сысоев выживет!

Отец всегда писал скупое, сухо, по-деловому, вычищая все личное, выбрасывая порой факты бесценные, а на этот раз вдруг позволил себе едва ли не единственное на все воспоминания о войне лирическое отступление.

«На другой день, когда время близилось к вечеру, бои уже затихли. В небе плыли и громоздились серые тучи. С моря веяло прохладой, мы с тягостным чувством утраты провожали в последний путь нашу медицинскую сестру, павшую при жизнеспасительной операции раненого. На острове Урансари, недалеко от медсанбата, в сосновом лесу под сенью густо повисших разветвленных сосновых крон мы насыпали прощальный холм, воздав долг воинской почести залпами в воздух из личного оружия. На душе было муторно. Заметно уже опустились сиреневые вечерние сумерки. Казалось, окружающие деревья задумчиво и печально шепчут о чем-то. Мне говорили, что иногда Валю заставляли в намеренном ее уединении, глухо плачущей по погибшим родным (отец и мать погибли в море при трагической эвакуации из Таллина). Пусть эти строки будут данью глубокого уважения памяти не забытой и безвестной В. Муги, чья жизнь оборвалась молниеносно в неполных 19 лет».

«Знал ли лейтенант Сысоев, какой ценой он был спасен, — вопрошает далее отец, — мне неизвестно».

Муга — странная фамилия, наверное, эстонская, в ней отзвук русского слова «мука», в ней что-то грустное и туманное...

В течение своей жизни я не раз вспоминал эту юную невинную девушку, пропавшую в мясорубке войны, пытался ее представить, и тем самым,

мне кажется, будто не давал ей сгнуться из памяти человеческой окончательно и бесследно.

А вы говорите — «гаджеты», «апгрейды», «унисекс», «бабло»... Лучше произнесите вслух или про себя: «Валя Муга...» — и помолчите несколько секунд.

Стоп-кадр

Старик

Весна. Старый человек заходит в автобус. Он невысокого роста, полный, в зимней шапке и осеннем пальто, воротник которого поднят. Лицо, отвисшее книзу, будто сползает с костей в складки щек, глаза мокрые, ничего не выражающие, как у рыбы, равнодушно-усталые, рот все время полуоткрыт. Пухлой ручкой, усеянной коричневыми крапинками, берет поручень, поворачивается. Между поднятым воротником и спиной торчит узел толстого шнура электропроводки — вешалка. Редкий седой пушок покрывает розоватый затылок. Узел крупный, крепкий, пальто порвется — вешалка останется. Остальное не имеет значения. Старость.

Лыжница

Снег блестит на морозе розовыми искрами. Воскресенье. На ясном голубом небе только солнце, как спелое золотое яблоко. Сверкают алюминиево ряды лоджий нового района на другом берегу.

На канале много лыжников, дельтапланы — травянисто-зеленые, красно-желтые, синие, кажущиеся издали тропическими бабочками, случайно занесенными циклоном на снег. Соревнования. Около сотни зрителей выстроились вдоль дорожки для разбега. Среди них юная лыжница. Она восторженно ждет. Длинные девичьи легкие ноги в темных трикотажных тренировочных штанах, пестрый шерстяной свитер толстой вязки со свободными складками, под которым угадывается тонкая сильная талия. Роковая черная закрученная прядь выбивается из-под шапочки над горячей красной щекой. Ясные голубые глаза полны радостного морозного блеска — торжествующие глаза. Ей неизвестно, что в этот миг, внизу — темная холодная вода, молчание, ничто. Роковая прядь — ее происхождение оттуда, но разве что-нибудь имеет значение в этот миг? — Разбег. Взлетает человек-птица, и сердце радостно замирает, ныряет и взлетает, как на качелях, когда человек выравнивает крылья, то снижается, то снова уходит вверх, делает круг и идет на посадку. Вот оно: молодое «Все или ничего!», и будущее в руках, как теплый золотой шар, как золотое яблоко, краснобокое, ненадкушенное...

Витькин коммунизм

(были советские)

Каждый человек хочет быть счастливым. Каждый ищет счастья по-своему. Да только не дается оно людям в руки, как жар-птица, разве у иного смельчака перышко в руке останется: посветит-посветит, да и погаснет.

Вот решили люди однажды: не дается счастье каждому поодиночке, значит, соберемся вместе и построим рай на земле, а конкретнее — коммунизм. Только и из этого, как уже доподлинно известно, ничего путного не вышло.

Отец Витьки Воробьева боролся за всемирное счастье в других странах, поскольку был советским разведчиком. Своими глазами он видел, что люди на Западе хоть и не строят никакого светлого царства-королевства, живут гораздо лучше, чем в самой богатой от природы России. Карл Маркс предвещал построение коммунизма во всем мире. Ленин и Сталин провозгласили возможность построения коммунизма в отдельно взятой стране, а витькин отец, творчески развивая их учение, пришел к идее возможности построения коммунизма для отдельно взятой семьи и даже для отдельно взятой личности, и открытие свое по большому секрету сообщил сыну.

Вот об этом-то и поведал мне Витька, когда мы стояли на крохотном балкончике малогабаритной квартиры, где он жил со своей второй женой Алюней и аквариумными рыбками.

Было это в это в эпоху «развитого социализма». С высоты птичьего полета (седьмой этаж) были видны плоскости крыш ближайших послевоенной постройки домов, люди внизу казались муравьями, а легковые машины во дворе — жуками. Здесь, на балконе, куда мы обычно уходили, оставив женщин на кухне со своими дамскими разговорами, он поверял мне самое сокровенное. Балкончик был крохотный, и лишь тонкие надежные перила отделяли нас от пропасти, высота не страшила, а лишь приобщала к огромному небу, и возникало какое-то легкое, птичье настроение, здесь обычно хотелось обсуждать нечто глобальное — политику, философию... И часто казалось почти реальным все то, что всего лишь в нескольких шагах, на отчужденной от пространства кухне выглядело бы сущим вздором, над чем мы могли бы там посмеяться и сами.

Сдружились мы с ним еще в мединституте. Это был самый толстый студент на курсе. Зрелым доктором он стал таким солидным, что проходил в дверь своей московской квартирки боком.

В тот теплый вечер он сидел на балкончике в майке, курил, как всегда дешевую и жесткую «приму» без фильтра, волосатый и огромный, как гризли (впрочем, его мощь не выглядела агрессивной — в ней преобладала округлость). И странным в нем на фоне этой мощи казались изящный, почти женский рот-бантик, задорный мальчишеский голос и живые темные глаза. Его быстрый ум, легкий нрав, горячий темперамент словно были подготовлены для человека д'артаньяновски худощавого склада, но по какой-то странной прихоти судьбы попали в столь массивную оболочку, которую он, однако же, научился носить с большим достоинством, а ротик-бантик его уже был старательно запрятан в окладистую громадную бороду «а ля мужик».

— Надо каждому строить свой коммунизм, — повторил Витька, выщелкнув окурок в красный от закатного солнца воздух, — так мой отец говорил. И я своей Алюне коммунизм устрою!

Отца своего он уважал, невзирая на то, что они ссорились и годами не разговаривали. В самое трудное время студенчества, когда у Витьки появилась первая семья и родилась дочь, отец, не одобрявший женитьбу, не помог ему и копейкой. Гордый Витька, вместо того чтобы повинно просить, пошел работать на скорую помощь фельдшером. Часто на занятиях после ночного дежурства под равномерный голос преподавателя его грузное тело внезапно обмякало, глаза закрывались, и преподаватель вопрошал: «Воробьев! Что это с вами?»

Встрепенувшись, Витька открывал глаза как раз в тот момент, когда начинал, грозно покачнувшись, заваливаться, удерживал равновесие, ухмылялся, а студенты, большинство из которых были свободны от забот и жили под крылышками родителей, поспешно, с долей уважения поясняли, что он после дежурства, и взгляд преподавателя обычно теплел.

После института Витька работал день и ночь, однако еле сводил концы с концами. Потом разразилась катастрофа — развод с первой женой, бывшей сокурсницей, который он сильно переживал. Но не прошло и года, как Витька женился снова на маленькой армяночке с твердокаменным характером, хирурге, в прошлом чемпионке Европы по стрельбе из пистолета.

Витька всегда мечтал о том времени, когда семья его будет жить по-человечески, не нуждаясь в самом необходимом, но шли годы, а оно так и не наступало, сколько бы он ни пахал днями и ночами на скорой и в реанимации.

— Представляешь, Палыч, — жаловался мне Витька, — югославские женские сапоги стоят 70 рублей — больше половины врачебной зарплаты! А есть на что? С другой стороны, не ходить же моей Алюне

в валенках по Москве! Вот я и работаю на полторы ставки, и она работает, и все равно еле-еле... Нет, надо что-то делать!

— Понимаешь, Палыч, — излагал мне Витька свою теорию на высотном балкончике, — государство повернулось к нам жопой. В какой это стране видано, чтобы водитель автобуса зарабатывал в пять раз больше врача? И вообще, посмотри вокруг: оно повернулось жопой ко всему народу — честно работать невозможно, машину может купить только вор... Призывают работать все больше и лучше, а как ни работай — один оклад в зубы... Государство нас грабит и обманывает, значит и мы должны отвечать тем же: неси все, что плохо лежит, есть возможность — неси! Вот я вчера два куса мыла с работы притащил, а сегодня — полотенце... У меня дома все кружки с клеймом «минздрав», — в голосе его звучала гордость. — Идешь, например, мимо стройки, видишь — лежит кусок хорошего провода — бери, пригодится! Все вокруг народное — все вокруг мое! — он задорно прищелкнул пальцами и хлопнул ладонями. — ...Деньги, я тебе скажу, лежат прямо под ногами, стоит только нагнуться, стоит только немного пораскинуть мозгами. У меня уже есть несколько задумок, — загадочно понизил он голос.

— Снова самогон гнать? — предположил я. — Так ведь когда-нибудь нарвешься — соседи настучат...

— Есть другие методы, — сказал он и многозначительно замолчал, ожидая, что я буду его расспрашивать. Я молчал и, как и следовало ожидать, через несколько мгновений он не выдержал.

— Вот самый простой... но, конечно, между нами. Берешь обыкновенный пяточок и выпиливаешь из него крестик, а в церкви крестики — по три рубля... технически проще простого. Говорю я с тобой, например, а тем временем зажал пяточок в верстак и вжик-вжик, напильничком... Дел минут на десять... А если пять таких крестиков в день — это же пятнадцать рублей... умножь на тридцать — будет четыреста пятьдесят — три докторских зарплаты! Ну, идем, я кое-что покажу...

Мы прошли с балкона в комнату. Здесь блестящие золотом маковки Елоховского собора заглядывали прямо в окно. Из-за того, что Витьке казалось хлопотным выбираться на природу, он предпочел эту природу привнести в дом. На письменном столе поблескивал огромный пузатый аквариум. В зеленоватом сумраке аквариума фосфорическими искрами сверкали легкие неоны, неспешно двигались полупрозрачные самки гуппи с жемчужно-серебристыми животиками, вились по стенкам вокруг них маленькие самцы с ярко пестрыми шлейфами хвостов, блуждали меж водорослей красные и черные меченосцы, парили лупоглазые крошечные золотые рыбки, шевеля розовой вуалью плавников...

Он открыл ящик письменного стола, запустил в него свою волосатую лапу и что-то протянул мне.

— Вот, первый экземпляр продукции...

Это был желтый отполированный крестик, в котором кроме цвета ничего не напоминало о первоначальном корыстном назначении металла.

— Ну как?..

— Вполне приличное качество, — пожал я плечами.

— Теща в Елоховский собор ходит, будет распространять...

Бывает нередко в жизни: идея вроде бы неплохая, а дело не идет, так и с Витькиным начинанием случилось. А может быть, ему кто-то вовремя шепнул, что порча монет — уголовно наказуемое деяние.

Однако взгляда от церкви он не отвратил, благо, Храм Божий находился рядом. Свела Витьку его теща со старостой храма, мужиком таким же толстым и бородатым, как Витька, и, по его словам, быстроглазым (Алюня удивлялась их поразительному сходству). А надо сказать, Витька окончил школу с радиотехническим уклоном. И предложили ему отремонтировать радиоточку в храме. И взялся он ее обслуживать. И три месяца ходил исправно сын советского разведчика, тайно занимаясь делом несовместимым с «высоким званием советского врача»: посмотрит быстренько больных, запишет истории болезни и часов в двенадцать уже халат снимает, в шкафчик вешает, а мне шепчет (мы в то время вместе работали): «В храм Божий, в храм Божий пора!»

На столе у него дома появился катехизис, его увлекли христианские догматы.

Уверовал он с необычайной быстротой и готовностью. «Воцерковляться, воцерковляться, Палыч, надо!..» Рассказывал о том необычном впечатлении, которое производила на него таинственная тишина и сумрак сводов храма, когда не было посетителей, а он, поднявшись на стремянке под своды, ближе к святым, чинил проводку. А однажды многозначительно сообщил: «Владыке уже обещали представить!»

Встрече этой придавал он важное значение: надеялся, возьмут в церковь на постоянную работу, хотя вслух об этом не высказывался. Наконец встреча состоялась: «Глянул на меня Владыко, как насквозь, ничего не сказал и пошел!» — рассказывал Витька.

— Ну а дальше что? — спрашиваю.

— А дальше не знаю, посмотрим, — многозначительно сказал Витька, — такой человек, видно, Владыко, с одного взгляда рассекает, ему и разговаривать не обязательно...

Немного времени спустя, придя на работу, я обнаружил Витьку в разгневанных чувствах.

— Обманули меня святые отцы, представляешь, обманули! — говорил он, гневно сверкая глазами.

— В чем дело?

— Представляешь, прихожу я вчера в радиорубку, а там какой-то мужик возится. Вы кто, говорю. А я, говорит, инженер, здесь работаю, был четыре месяца в командировке в Ленинграде... Я ни слова не сказал — развернулся и ушел!..

Очень обиделся мой друг, что святые отцы не оценили его бескорыстия. А может быть, и напрасно, может быть, это было последним испытанием?

Но не таков Витька, чтобы долго унывать и находиться в бездействии. Возмущали его воображение все новые идеи. Отсюда начинается новая история, история с протарголом, обыкновенными детскими капельками от насморка. Кажется — ну что в них особенного? — но и тут проявился необыкновенный полет витькиной мысли.

— Слушай, Палыч, — спрашивает он меня однажды, — а не можешь ли ты достать протаргол? — и по таинственному пониженному тону я понимаю — мой друг уже замыслил нечто чрезвычайно важное, но пока не пойму что.

— А чего его доставать — в любой аптеке есть...

— Мне много надо... — еще более понизив голос говорит Витька.

— Сколько флаконов?

Витька некоторое время молчит, как бы раздумывая, стоит ли меня посвящать в тайну.

— Ведро, — наконец говорит он.

— Да зачем тебе столько?! — не выдерживаю.

Витька смотрит на меня как бы издали, с сожалением, и объясняет, как Миклухо-Маклай папуасу.

— Это же окись серебра, Палыч, несколько простых химических реакций и можно получить чистое серебро! Только надо достать много протаргола, очень много! Где-то в нашем бестолковом государстве

наверняка его можно достать много и бесплатно, спереть с завода, например... попросить рабочих — за бутылку вынесут...

— Ну а что ты с этим серебром будешь делать?

— Можно из него шестиконечные звезды Давида отливать и продавать евреям, знаешь, сколько за такое отвалят?

Я не знал сколько и так ли уж необходимы евреям серебряные звезды, но это ничего не меняло. Сказано — сделано: Витька начал налаживать у себя на кухне небольшое литейное производство.

— Нужное количество материала наберем потом, главное пока — освоить технологию, — объяснял он мне, хитро подмигивая, показывая пару кирпичей и половник. — Теща ругается, правда, — со смехом говорил он, будто сам дивясь собственной сумасшедшинке, — приходится после производственного цикла на балкон выносить.

В то время я ему на день рождения даже книжку подарил по литейному производству со схемами доменных печей, пожелав в скором будущем освоить домашнее самолетостроение.

Он даже свой аквариум на время оставил, перестал отлавливать мальков, отделять несовместимые породы, предоставив все естественному отбору. В результате рыбок в аквариуме становилось все меньше, а три золотые рыбки все росли и росли... «Представляешь, жрут всех!» — восторгался он их акульными задатками. Первыми исчезли неоны, потом меченосцы и гуппи и в огромном аквариуме шныряли только значительно подросшие золотые рыбки, одна из которых по размерам явно обгоняла двух других.

Недели через две, когда я снова попал к нему в гости, Витька с гордостью демонстрировал мне комочек серого невзрачного вещества, похожего на табачный пепел, на дне столовой ложки. «Это первый этап! Еще две реакции с этой штукой — и у меня будет чистое серебро!»

Однако на его пути непреодолимой преградой встал женский консерватизм. После двух прожженных половников жена и теща наотрез отказались верить, что счастье на пороге, и наложили вето на кухонные эксперименты.

И вот тогда Витька решился на крайнюю меру: бросить медицину и стать автослесарем. «Сколько же можно так жить? Ты знаешь, что женские сапоги половину моей зарплаты стоят? Я должен сделать своей Алюне коммунизм!» Друг детства (тоже сын кэзгбэшника, приятеля его отца) уже давно работал таксистом, при встречах потешался его мизерной врачебной зарплате, звал к себе в таксопарк.

Решение принималось нелегко, хотя Витька сообщил о нем как обычно, с шуточками, прибаутками, будто обсуждал постороннего чудака.

Мы сидели в комнате, и я смотрел на аквариум, где плавала лишь одна золотая рыбка, разросшаяся до размеров, наводящих на мысль о своевременности ее путешествия на сковородку — венец аквариумного дарвинизма.

— Представляешь, — подхватив мой взгляд, восторженно сообщил Витька, — она кусается! Опустим-ка палец...

Я опустил указательный палец в воду. Пучеглазая рыбка, мотнув розовым шлейфом хвоста, метнулась вперед, и я почувствовал, как кожу легко ущипнули острые краешки рыбьего рта.

— А знаешь, как страшно! — вдруг сказал Витька, проникновенно глядя мне в глаза.

— Зря ты это делаешь, не стоит, — ответил я, и тут он взорвался в первый и последний раз за время нашего общения, завопил, будто сам себя испугался.

— Да иди ты... Сам разберусь, сам!

— Ну, как знаешь, — сказал я.

Я с трудом представлял себе самолюбивого Витьку в роли ученика автослесаря (ступень, которую он должен был непременно пройти перед тем, как стать автослесарем). Я с трудом представлял себе, каким образом с его необъятными габаритами он будет залезать в смотровую яму под автомобиль, просто наклоняться, зато мог представить, какой беспощадный хохот будет все это вызывать у мужиков таксопарка.

Недели через две после того, как он устроился на новую работу, нам позвонила его жена и со смехом (ее саму забавляли эти шараханья) сообщила, что Витька заработал свою первую левую трешку. Потом трубку взял Витька. Судя по голосу, в котором звенели плохо скрываемые ликующие нотки, он считал это началом золотого дождя.

Однако после этого звонка Витька вдруг как-то затих, перестал мне звонить, да и я долгое время не звонил ему, перешел на новую работу, кажется куда-то ездил.

Однажды матушка моя сказала:

— Слушай, наверное, я сегодня твоего Витьку в метро видела. Едет на эскалаторе такой огромный, грязный, бородатый, и все на него оглядываются.

— А где это было? — поинтересовался я.

— Метро Проспект Мира.

Ну конечно это был Витька: в этом районе находился его таксопарк и он, видимо, возвращался со смены.

Прошло около трех месяцев, и я ему позвонил.

— Ну, ты уж там, наверное, процветаешь?

— Уволился, — после некоторого молчания сказал Витька. — Меня в больницу обратно берут...

— Что так?

— Знаешь, Палыч, я понял — каждый должен быть на своем месте.

Даже на Витьку, любившего щегольнуть показным цинизмом и затейливым матом, общество, которое он нашел в таксопарке, произвело неизгладимое впечатление. О тамошних нравах, по умолчанию уголовных, вспоминал с горькой усмешкой. Рассказывал, как похвалялась шоферня друг перед другом, под одобрительный гогот, своими «подвигами» — кто как ловко обманул приезжего, накатывая лишние километры, обокрал пьяного клиента, «снял» проститутку — и чем гаже и отвратительнее были поступки, тем более почетными считались. «Особенно молодые любят это дело, старые волки молчат. Но чувствуется на их совести такое!..»

И все-таки одного друга Витька там нашел. Я видел его — это был немногословный парень с серым, отмеченным преждевременными морщинами, внимательным лицом.

— Вовка — единственный человек там не такой, как все. Вовка — человек! Ты знаешь, он один, который чем-то интересуется, задает вопросы... Многого не знает. А в той среде у него ему просто не у кого спросить... Я домой его пригласил, чтобы совсем другие отношения увидел, что люди могут еще как-то по-другому жить, нормально разговаривать... Правда, скромный ужасно, интеллигенции еще стесняется...

Володя, простой честный рабочий человек, — единственное ценное наследство, оставшееся у Витьки от таксопарка, где лучшее надо хранить как можно глубже в себе.

Это была последняя известная мне попытка Витьки построить себе коммунизм, самая решительная. Не получилось у мужика, хоть и идей было премного. Я-то знаю почему: все-таки слишком честный оказался — всю жизнь мечтал продать душу, да так и не сумел.

А в общем, мы с ним давно не виделись.

Дрожь

...кудрявая что ж ты не рада

веселому пенью гудка?

Корнилов

Поздняя осенняя ночь. Тысяча девятьсот пятьдесят второй год. Ленинград. Медный всадник бессонными выпуклыми очами все так же смотрит в сторону Невы. К сырой холодной бронзовой щеке прилип, трепеща на ветру, пожухлый надорванный лист. Кое-где горят редкие фонари. Погасли окна в учреждениях и домах, улицы опустели, город затих.

Евгений Петрович не спит. Последнее время он стал внезапно просыпаться среди ночи. Он старается не шевелиться, чтобы не разбудить жену. За окном огромного серого дома тишина. На Кировском проспекте пустынно. Лишь глухо и тревожно бьется сердце. Обострившийся слух ловит каждый звук. Вот ровно дышит жена, а дыхания дочери в кроватке у окна не слышно, такое оно по-детски легкое, неуловимое, и Евгению Петровичу на миг становится жутко, он хочет встать, подойти к ней и услышать ее дыхание, но, боясь разбудить жену, не двигается. «Спи, спи, доченька, не плачь. Вот придет „черный ворон“, заберет тебя!..» Лишь еще напряженной вслушиваясь, он как будто начинает слышать это легкое шевеление воздуха, не то ему уже начинает казаться, что слышит... Вот что-то пискнуло. Рассыхающаяся половица или мышь?

В коридоре коммуналки прошлепали тапочки, судя по шарканью — Фанни Сергеевна, старик Сотников не так мелко шаркает... Через некоторое время раздался звук спускаемой воды в туалете. Снова прошлепали тапочки, скрипнула дверь, и все. Тихо. Фанни Сергеевна, старая пианистка с наивными добрыми глазами, в которых всегда или испуг, готовый смениться удивлением, или удивление, готовое смениться испугом, одинокая во всем мире, обломок старой отжившей эпохи, эпохи утонченных переживаний, каких-то сказочных представлений о прекрасном, кажущихся сейчас до смешного нереальными... Профессор Сотников тоже оттуда, из той эпохи, не говорит, правда, не ахает, — по слишком умным и мягким глазам видно...

Сердце постепенно умеряло свой бег, и Волгин снова погрузился в легкую дрему, еще немного, и он заснул бы крепко, до утра, но тут послышался звук, звук знакомый, от которого сердце сжалось и ударило кровью в мозг, вмиг его пробудив. Это машина затормозила около

подъезда. Ему захотелось вскочить, подбежать к окну, посмотреть, что за машина, но он не стал искушать всемогущий Рок, лишь лоб покрылся холодным потом.

«К кому на этот раз?..» — мелькнула мысль. Почему-то он был уверен, что это именно они. В один миг попытался вспомнить все, что мог говорить и делать за последний месяц, у кого мог вызвать неудовольствие, зависть, мог ли обронить случайное слово. Но нет, нет, он был чист, он знал, что был чист в любом смысле, кроме того ужасного случая, совершенно ужасного случая. Но это было почти полгода назад, и он уже думал — обошлось. Ах, как он ругал себя тогда и как благодарил судьбу... Не рано ли?

А все началось с такого пустяка как обыкновенная жара. Тот веселый майский день перед праздником Победы был по-летнему жаркий. Он купил на Литейном газету и решил выпить пива, благо, забегаловка находилась недалеко. В пивнушке было шумно. Он заметил свободное место за столиком, напротив лысого, с выпуклыми белесыми глазами, гражданина во френче, несмотря на жару, наглухо застегнутом. Перед френчем стояла початая кружка. Уже тогда его обдало каким-то холодком. Но, в конце концов, разве справедливо судить о человеке только по одному взгляду? Но на всю жизнь он запомнил эти стеклянновыпуклые глаза и тонкие губы удава. Занял место, положил газету на стул, и отошел за пивом, которое наливал из бочки черноусый человек с восточной внешностью. Пиво было пенным. Оно клубилось, как облака, и восточный человек наливал щедро, через край. Знать бы ему, во что может обойтись такая щедрость!

Евгений Петрович сел напротив белоглазого с наполненной кружкой, положив газету на стол. Пена стояла высоко, и, предвкушая удовольствие, Евгений Петрович дунул, сбивая ее в сторону, но дунул чуть сильнее, чем надо, и кусок облака упал на газету. Евгений Петрович отхлебнул и, не удержавшись, улыбнулся белоглазому. Однако взгляд незнакомца был направлен совсем не на него — на газету, и Евгению Петровичу стало не по себе. Косая полоса пены пересекала портрет генералиссимуса. Его френч с рядами орденов и медалей, подбородок и усы быстро намокали и желтели, сквозь них проступал газетный шрифт.

Белоглазый смотрел теперь прямо на Евгения Петровича, да так, что пиво остановилось где-то в пищеводе. Толстым пальцем с зеркальным ногтем он указывал на портрет, прикасаясь к краю газеты. Лицо его нисколько не изменило выражения.

— А-ах, это, — засуетился Евгений Петрович, — случайно как-то, — он заулыбался белоглазому, но тот все так же смотрел в упор, не мигая, и

Евгений Петрович почувствовал, как его охватывает паника. Он торопливо выхватил газету из-под зеркального ногтя, стер ребром ладони пену с портрета, еще больше его при этом намочив. «Что я делаю!?» — ошпарила мысль, и, свернув газету портретом внутрь, он снова положил рядом с собой с тем чувством, с каким убийца скрывает труп. — Вот... читаем, новости, — заискивающе сказал он белоглазому, по-дурацки хихикнув. А тот все смотрел на него, не мигая.

— Я это видал! — внезапно произнес он почти торжественно, так, что Евгений Петрович похолодел. — Я это видал! — повторил он многозначительно, отхлебнув пиво.

— А в чем дело, что? — прошептал Евгений Петрович, каким-то верхним сознанием отметив просторечие незнакомца.

— Вы сами знаете, про что я...

Евгений Петрович молчал. Все походило на непонятную шутку. Только вот для кого и над кем? Захотелось просто расхохотаться и послать белоглазого к черту.

— Как ваша фамилия? — спросил тихо френч, доверительно наклоняясь к нему.

Евгений Петрович открыл рот. «Да с какой стати я его должен бояться?! — возмутилось все в нем. — И ПРИ ЧЕМ ТУТ ТЫ?!»

— Волгин, — дерзко выпалил Евгений Петрович и тут же пожалел, но было поздно, и он лишь сильнее сжал кружку. «Ах, к чему это я, зачем?»

— Та-ак, — проговорил незнакомец, — Волгин... Слушайте, сидите здесь и не уходите никуда, мне в уборную надо. Так я вас попрошу место поддержать, если кто спросит.

Евгений Петрович покорно кивнул. «В конце концов, мне нечего бояться, я не совершил ничего преступного! — подумал он, вдруг почувствовав странную слабость. — Неужели я обязан что-то скрывать?» — и от тайного понимания, что да, придется, возникло ощущение вины, и к горлу прихлынула внезапная потребность раскаянья, — так или иначе, свершилось кощунство!

Белоглазый уже шел к выходу, а Евгений Петрович с тоской созерцал купол его лысины, переходящей в толстый глухой затылок, перерубленный носорожьей складкой. Ведомо ли этому человеку счастье? Нет, он не обольщался насчет человеческой природы. На своем пути Евгений Петрович нередко встречал людей, безусловно, имеющих свое ощущение счастья, счастья на клеточном уровне, счастья

заглотившего добычу и удовлетворившего свою похоть бронтозавра, и чем примитивнее они были, тем беспощаднее за него, это ощущение, сражались, вытапывая все человеческое вокруг.

«По усам текло, а в рот не попало...» — долетевшая из гула пивной фраза, лопнувшая в конце хохотом, будто обожгла прозрением. «Надо уходить! Чего я жду!» Он действовал с четкостью машины. Оставив еле пригубленное пиво, встал и быстро зашагал в сторону стойки, рядом с которой находилась служебная дверь.

— Эй, дарагой, тэбэ куда? — раздался голос восточного человека у бочки.

— Мне к директору, — решительно бросил мимоходом Евгений Петрович.

Еще доносились, будто пытаюсь удержать, какие-то голоса вслед, но он уже шагал по узкому коридорчику. Вот и дверь — одна, вторая... где-то должен быть служебный выход. Волгин сжал кулаки и почувствовал, что остановить его сейчас не в силах никто. Коридор завернул вправо, и — о счастье! — открытая дверь, через которую грузчик затаскивал со двора огромный ящик. Евгений Петрович со спортивной легкостью перескочил чрез это препятствие и, очутившись на свободе, где резко кричали мальчишки, играющие в разведчиков, быстро зашагал прочь. «Держи шпиона, — кричали мальчишки, размахивая деревянными автоматами, — тра-та-та!..» И Волгин старался не оглядываться и вдруг не побежать.

Он проехал на трамвае до Невского, там смешался с толпой, зашагал в сторону Адмиралтейства, свернул направо, попетляв по переулкам, но еще долго ему казалось, что кто-то вое время пристально за ним наблюдает, и ладони были мокрыми. Будто он выжимал белье. Уже потом, когда он шел по набережной Невы, вдыхая отрезвляющий свежий воздух, ему казалось все происшедшее каким-то бредом, возможно, плодом больного воображения. Так было легче думать, хотелось это и вовсе забыть. К чему думать о том, что изменить бессилён? Надо было просто жить — жить, жить и жить! И уметь забывать... Но фамилия! Ах, как глупо, зачем он сказал ему фамилию? Ах, язык мой — враг мой!

Потом он почти не вспоминал об этом случае. Не хотелось вникать во что-то непонятное, страшное, откуда возврата нет. А город торопился к будущему счастью, и как никогда часто вспыхивали улыбки на послеблокадных, остроскулых, со впалыми щеками лицах, слышался смех. Да и думать о себе было некогда: на заводе, где Евгений Петрович инженерил, — бой молотов до звона в голове, дома — Наткин рахит... Но иногда, выйдя из проходной и оставшись в одиночестве среди толпы,

он вдруг чувствовал затылком чей-то недоброжелательный, пристальный взгляд, и стоило усилий не обернуться и не ускорить шаг.

Все это мигом вспомнилось сейчас. Что-то изменилось в дыхании жены, и ему показалось, будто она проснулась. Потом загремел сползающий вниз тяжелый, как танк, древний лифт. «Значит, поедут наверх!» — и сердце забилося учащенно. Лифт снова загремел и теперь пополз вверх, и он мог бы поклясться — каждое мгновение теперь стало невероятно плотным, вещественным, и темнота ринулась в нос, глаза, уши, как вода в тонущего. Он боялся молить, чтобы лифт проехал мимо, выше, но душа его невольно грешно кричала: «Господи, только бы проехал выше, только бы не остановился!» Он попытался заставить замолкнуть душу, искушающую мольбой судьбу, но не смог и чувствовал лишь нарастающий, как нарыв, ужас, ужас надвигающейся катастрофы. Но вот он остановился... на их этаже! Но, может быть, не к ним, ведь на площадке целых три квартиры! Еще несколько мгновений — и в прихожей негромко, вкрадчиво звякнул колокольчик. «Как ваша фамилия?» — «Волгин...»

Жена шевельнулась.

— Что, звонок? — спросила притворно сонным голосом (и он понял — да, она не спала), шелохнулась.

— Не вставай! — сказал он хрипло, жестко сжав ей руку и возненавидев ее. — Не открывай, мы спим, Натку разбудят... — и она, устало вздохнув, опустила голову на подушку.

В коридоре слышалось шарканье тапочек. Фанни Сергеевна! «Дура, ну куда ее несет!» — мысленно возопил Евгений Петрович. Слышался звук открываемой двери, тихий возглас, негромкие мужские голоса. Евгений Петрович замер, взмокнув от напряжения, облизал сухие губы. Он почувствовал, что жена тоже словно закаменела, даже дышать перестала. Кровь стучала в висках. Он ожидал самого страшного. И тут раздался стук, он вздрогнул, как от удара по голове, и только в следующее мгновение осознал — стучат не к ним, а в соседнюю дверь, к Сотникову! Еще стук, потом голоса; дверь как будто открыли. Евгений Петрович боялся вздохнуть. — «Как ваша фамилия?» — «Волгин...» Он боялся верить. Так прошло около получаса: шаги, голоса... Голос Сотникова, слышно было, как один раз он даже рассмеялся. Волгин представил старого профессора биологии, седоусого, с темными мягкими глазами, смотрящими из-под толстых круглых очков, представил и таким, каким видел его вчера вечером — сутулая узкая спина с подтяжками, перехватывающими старую рубашку, — он по коридору уходил...

Голос растерявшейся и совсем поглупевшей Фанни Сергеевны, голоса молодых супругов Ивашкиных, поселенных на месте вымерших в блокаду Лариных, незнакомые мужские голоса... шаги, шаги, с приближением которых сердце Евгения Петровича каждый раз замирало и повисало на трепещущей кровавой нитке. Но вот, наконец, дверь хлопнула, и в квартире стало как-то сразу тихо, будто отрубило. Потом загремел лифт, еще немного — и на улице прошумел мотор отъехавшей машины. Все. Полная тишина. Только посвистывал осенний ветер на улице, дometая последние листья. И безумная клеточная радость, ринувшаяся в душу, ликование мягкой и нежной плоти, избежавшей сокрушающего удара. И будет утро... и будет день...

Астма

Если и считать угрюмый индустриальный Подольск семидесятых дырой, то Цемянку можно было бы назвать дырой в дыре, сверхзахолустьем. Она и находилась на самой окраине города, отсеченная от его главной части рекой, будто стремилась от него оторваться. Если ехать к Подольску из Москвы по Варшавскому шоссе, то на самом подъезде к городу далеко слева у горизонта возникали, как циклопы, стоящие в ряд, четыре громадные трубы, непрерывно извергающие конусы и столбы серого дыма, соединяющиеся с облаками и, возможно, их образующие. На повороте к Цемянке с Варшавского шоссе, сколько себя помнил, торчал стенд с аршинными фанерными буквами цвета запекшейся крови: «СЛАВА КПСС!»

Пару раз мне приходилось туда заворачивать, когда я в молодости работал врачом на Подольской скорой.

Этот район в большинстве своем населяли татары, и подольчане так и называли его татарским районом. Деревянные бараки и хибары впритык подходили к бетонным стенам цемзавода.

Первый раз это было ненастным осенним вечером в темноте: мы сняли приступ ишемической болезни какому-то старику, но выехать оказалось непросто: заднее колесо РАФа попало в кювет и машина забуксовала. На помощь нам сбежалась татарская молодежь, вырванная прямо из-за какого-то застолья. Помню красивого молодого брюнета в рубашке и трениках, несмотря на холодную и промозглую погоду, в домашних тапочках без задников по черной грязи. Они рьяно взялись толкать машину, вкладывая всю свою, требующую немедленного выхода, пьяную силу. Толкал машину и я, кажется, даже не сняв белый халат. После двух-трех попыток под ликующие крики РАФ двинулся, и все его колеса оказались на дороге.

Другой раз вызов поступил в дневное время, на исходе зимы. Я выехал без фельдшера. Меня впустила в дом юная, лет шестнадцати, симпатичная тоненькая татарочка. Обстановка скудная, отличающаяся от других квартир рабочих лишь картинкой на стене с изображением мечети и арабской вязью под ней. Больше дома никого не было, а девушка задыхалась, и у нее были черные страдальческие глаза. Я выслушал легкие: отчетливые свистящие хрипы на выдохе, явно свидетельствующие о приступе бронхиальной астмы. Это было необычно: нас учили, что бронхиальная астма — преимущественно мужское заболевание. Однако, работая на скорой, мне не раз приходилось видеть эти приступы у женщин, ну а такой молодой возраст я видел впервые.

Снял я приступ одной внутривенной инъекцией эуфиллина. Приятно видеть эффект буквально на игле, когда по мере введения лекарства человек начинает дышать все глубже и спокойнее. Болезнь еще не была столь злостной, чтобы не реагировать на эуфиллин.

Выходя из дома, по пути к машине я зимним сапогом сокрушил край сугроба, и он открылся мне в разрезе: узкие желтые полосы чередовались с широкими белыми, по которым можно было сосчитать количество снегопадов за последние два месяца, а желтые были тем, что попадает здесь в легкие людям, но об этом никто не думал: главное для начальства было выполнить социалистический план, а слово «экология» пахло чем-то вражеским и еще даже не появилось на страницах журналов и газет, среди радостных рапортов о выполнении и перевыполнении планов, приближавших нас к светлому будущему человечества...

Когда РАФ выехал на Варшавское шоссе, я включил новенький транзистор, и он запел: «И Ленин великий нам путь озарил!..» Пело радио, пела дорога, летящая под колеса, пело бледное небо... Я не выключал, потому что вот-вот должны были начаться новости. И хотя я заранее знал, что скажут о перевыполнении планов рабочими и колхозниками и об очередной исторической партконференции в Москве, я все же ждал, что когда-нибудь услышу Нечто: а вдруг?! Шли годы...

Берег

Злой он был, тот морячок Володя! И зачем меня моя Ба, Полина Ивановна, с собой взяла? Наверное, думала, что при мне жену бить постесняется. А он только вчера с рейса, первый раз за три месяца на землю ступил и в кабак первым делом, конечно. Вот и сидит у стола

боком — пьяный, злой, и серый пес, судовой товарищ, у его ног крутится.

А он, конечно, красив — морда львиная, грива волнистая, желтая с рыжиной, и глаза синющие ни на нас с нянюшкой, ни на жену с трехлетним сыном не смотрят, а смотрят в стену напротив, будто фильм на ней какой-то показывают. И не нравится ему этот фильм очень, хмурится, кривится зло, а оторваться не может...

Одна лапа лежит на столе — сбитая, грубая, как клешня. А вот грудь у него узковата, как у меня в ту пору, шестнадцатилетнего, хотя столько морским воздухом пользовался. Хотя вообще-то он моторист, и на палубе ему сильно уродоваться с тралом не положено.

А рубашка на нем синяя, новенькая, в обтяжку, с кармашками — видно, жена постаралась, маленькая блондиночка: у нее беседа, как бы посторонняя, с моей Ба.

А пацаненок такой симпатичный, ангелоподобный, с игрушками на полу возится. «Знаешь, — признавалась Ба, — я его так полюбила, почти как тебя маленького!» Да, мальчонка симпатичный, только вот два верхних зуба передних срослись в один — видно, что-то врожденное, стигма какая-то — все впечатление портит.

А Володя смотрит свой фильм и кривится: «Мать твою так! Ах мать твою!» Клешня его, задевая рассыпанные цветные карандаши сына, сжимается в кулачище.

А жена и Ба моя беседуют, будто не слышат.

— И куда плавали? — пытаюсь завести разговор.

— Гавно плавает — моряки ходят, — цыкнул, не глядя.

— Далеко?

— На Ньюфаундлендскую банку, — нехотя отвечает и снова свой фильм смотрит, а мне как-то и расспрашивать его расхотелось.

Пес в ногах у Володи крутится. Он наклоняется, гладит его, за ухом трет, возглашая: «Вот кто мне никогда не изменит!»

— Вова, успокойся! — это, значит, моя Ба.

— А ты пошла туда-то, старая...!

Тут кровь ударяет мне в лицо: это ведь он моей Ба, которая меня на руках носила, соску с манной кашей давала! Я его мигом возненавидел. Драться!? Но я ни разу человека в лицо не бил, руки мои онемели, и я уже знал — своей клешней достанет, но придется,

и от этого пустота какая-то внутри настала такая, что жить не захотелось, но придется, и я медленно стал вставать с горящим лицом. Однако Ба заметила мое состояние и потащила меня вон.

— До завтра, — сказала вслед жена рыбака, будто ничего не случилось и не случится.

— Вот как из плавания придет, так, значит, начинается... — говорила мне Ба, пока мы шли к ее комнате по коридору, воняющему кислыми старыми досками и мышами. — И еще начинает свой кинжал искать: «где мой кинжал!», а я его у себя спрятала.

Она показала нож. На кинжал он, конечно, не тянул, лезвие коротковато. Хороший нож был, самодельный, но со знанием дела и с удовольствием вытачиваемый за долгое плавание: лезвие мертво сидит на рукоятке, рукоятка гладкая, обмотанная пластмассовыми, — сама в ладонь просится.

— А ты возьми его себе, от греха подальше!

— Ладно, — сказал я, и в чемоданчик мой спрятал: будет память о Ньюфаундлендской банке.

Пора идти в кино

Как обычно, заведующий реанимацией Юрий Сергеевич Хромов явился на работу первым. Переодевшись в ординаторской, уже без десяти восемь он вошел в отделение.

Здесь было затишье. Неряшливо крашеная девица у телефона вяло скользнула по нему взглядом и, зевая, уставилась в оконную пустоту. Под лестницей стояла каталка с телом, накрытым простыней, и, как обычно в таких случаях, когда накрывали голову, ее, простыню, не хватало на ступни, и они торчали, всегда одинаковые — серо-синие, со сплюснутыми, слипшимися друг с другом пальцами. И черный кот, отродье, приваженное со скуки пенсионерами лифтерами сидел под каталкой и смотрел на живого Хромова с явной неприязнью, зелеными глазами.

«Наверное, ожоговый», — отметил про себя Хромов.

— А это еще что? — спросил он у девицы, указав на каталку.

— Как чо, — с тупой безмятежностью улыбнулась она, еще не остывшая от полуночных шоферских объятий, — мертвяк... — и снова уставилась в окно, всем своим видом будто говоря: «Хозяин нашелся! — Вот как заявление на увольнение напишу — сам главврач уговаривать будет!..»

— Я спрашиваю, почему не увезли до сих пор в морг?

— Машины нет, — соврала крашенная: не до трупа было — Сеня хлебал раздобытый украденный ею у старшей сестры медицинский спирт, и мял ее как пластилиновую, и лишь полчаса назад ушел восьмерками отсыпаться в гараже.

Очередной эпизод классовой борьбы закончился полной победой пролетариата, и Юрий Сергеевич это сразу понял и только подумал: «срочно надо звонить в гараж, шофера наглеют...»

Он быстро поднялся по лестнице и вошел в отделение.

— Здравсьте, Юрий Сергеевич, — это Леночка, новенькая медсестра, только в этом году закончившая медучилище. Она поспешила в палату, а за ней сразу показалась ее пожилая напарница Раиса Никитична.

— Ой, Юрий Сергеевич, уж и намаялись мы! — Раиса Никитична постарушечьи всплеснула руками, восторженно смотря на Хромова.

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогая. Иванов где?

— У себя, дневники пишет... А у нас ожоговый помер...

— Знаю, отмучился, Раиса Никитична.

— Царствие ему небесное... а доктор ночью ни столечко не поспал, все то одно, то другое.

— Ну, ничего, Иванову полезно, похудеет, — рассмеялся сухим посвистывающим смехом Юрий Сергеевич.

— Да ведь жалко...

— Юрий Сергеевич! — крикнула Леночка из палаты. — Подойдите к черепному, — в ее голосе посторонний человек не услышал бы ничего особенного, но Хромов всем опытом старого реаниматора уловил в нем ту особую, безлично тревожную нотку, которая заставила его через несколько мгновений быть у головы больного. Он сразу попытался нащупать на шее толчки сонных артерий, но кончики пальцев чувствовали лишь податливо ползущую ткань. Мерно стучал и шипел аппарат искусственной вентиляции легких. Грудная клетка лежащего с методической точностью вздымалась и опадала, но сердце его уже молчало.

— Лена, адреналин с хлористым! На длинной игле! — жестко приказал он, уже с каждым толчком ладоней сильно прогибая грудную клетку и заставляя сердце выбрасывать все новые и новые порции крови: раз-и, раз-и, раз-и!..

Лена кинулась было к стеклянному шкафу с медикаментами.

— Стой! — вдруг рявкнул Хромов.

Будто споткнувшись, Лена остановилась.

— Шагом! — жестко приказал Юрий Сергеевич. — Быстрым шагом!

В палату на шум ворвался Иванов с мешком «Амбу» для искусственного дыхания, но, увидев, что аппарат работает, отложил «Амбу».

— Сергеич, заменю, — сказал Иванов, вставая на место заведующего. Он продолжал массаж сердца, а Хромов воткнул длинную иглу в плоскую безволосую грудь, потянул поршень на себя и раствор в шприце вмиг окрасился алой кровью.

— Попал!

Медленно ввел раствор.

— Ну-ка послушай!

Иванов приставил фонендоскоп к груди и услышал гулкие отдаленные удары, но потом все затихло.

— А, черт! — выругался он и снова начал массаж сердца.

Минут через двадцать стало окончательно ясно...

— Не хочет жить, — сказал Иванов, отвернув веко и заглядывая в широкий, поглощающий все и ничего не отдающий зрачок. — Большое разможнение мозга...

— Все, — сказал Юрий Сергеевич, отключая аппарат: поршень еще пару раз стукнул и затих. Грудь лежащего человека, последний раз со времени его рождения приподнявшаяся, опустилась и застыла навсегда, навсегда оборвалась вьющаяся с сотворения мира через неведомые личины и судьбы нить жизни.

— Кто он? — на лбу Юрия Сергеевича поблескивали капли пота.

— Мотоциклист — ночью привезли... с девицей гнал: девицу-то сразу... С Южного шоссе привезли.

— Как фамилия?

— Алехин.

— Запиши, Иванов, — кивнул Юрий Сергеевич. Он вытащил оранжевую, блестящую от холодной слизи трубку изо рта лежащего, внешность которого уже приобрела ту неподвижную безликость, что роднит все те лица, которые покинула душа.

— Послушайте, — взмолилась уже давно вошедшая в палату Раиса Никитична, — там на лестнице ждут...

— Кто? — не понял Иванов.

— Родственники, родные...

— Сказать — умер! — внушительно сказал Иванов и тут же нахмурился. Был он рослый, грузный, щеку перерезал глубокий длинный шрам, и Раиса Никитична его побаивалась.

Доктора вышли из палаты.

Лена накрыла простыней незнакомое тело.

— Лен, — сказала Раиса Никитична, — выйди, а?..

— Не хочу, — мотнула головой Лена, — как я им скажу, а вы старше...

— Вот и я говорю, — всплеснула руками Раиса Никитична, — ну почему, почему мы должны говорить родственникам? Ну что я им скажу? Никому не хочется, конечно... Мы же медсестры, а им доктор нужен. Родственники должны с доктором говорить, правда ведь, Лен?.. — она растерянно смотрела на Леночку, словно ожидая от нее ответа.

Иванов сидел в узкой комнатенке дежурного врача за столом с селектором и двумя телефонами и быстро записывал историю болезни, приплюснутая шапочка съехала слегка на ухо, от которого через всю щеку, поворачивая углом вниз, протянулся шрам. Плохое было сегодня дежурство, он был невыспавшийся и злой: это второй труп, а ночью скончался ожоговый, на седьмые сутки своих мучений... Хотелось курить, во рту стоял тухлый мясной дух. В комнату зашло несколько других врачей из других отделений, узнать, кого из больных уже можно забирать себе. Свежие и выспавшиеся, они уселись в ожидании на узенький диван, перебрасываясь незначительными фразами, созерцая тяжеловатых рубенсовских муз на репродукциях «Огонька», парящих над расписанием дежурств (их поместил сюда недавно кто-то из молодых шутников).

Крепкая пухлая рука Иванова быстро скользила по странице.

Привычные фразы: «искусственная вентиляция... непрямой массаж сердца... инфузия внутрисердечно...» и последняя, обязательная: «проводимые реанимационные мероприятия эффекта не дали».

Он записывал эту последнюю фразу, стараясь скорее покончить с неприятным, краем глаза уловил появившийся в дежурке еще один белый халат — возможно, еще кто-то из докторов заявился — так и прут не вовремя сегодня!

— Скажите, как самочувствие Алехина? — спросила появившаяся в халате немолодая женщина.

— Умер, — бросил он через плечо, не переставая писать. И все присутствующие увидели, как женщина, не сделав больше ни единого движения, как стояла прямо, так и не сгибаясь, с размаху рухнула срубленным деревом навзничь, и было слышно, как стукнулась о линолеум затылочная кость.

— Мать! Мать это! — в дверях появилось испуганное птичье лицо Раисы Никитичны.

В момент огромное тело Иванова словно подбросила пружина.

— Кто? Кто пустил сюда?! — взбешенно закричал он, кинувшись к женщине, но врачи уже поднимали ее, укладывали на диван, и она, открыв глаза, зарыдала.

— Кто, кто дал халат? — надвигался на Раису Никитичну Иванов.

— Не знаю, не знаю я, — испуганно отступала Раиса Никитична. — Она сама прошла... — появившаяся за ее спиной Леночка растерянно молчала.

— Да-а, — сказал один из хирургов другому, когда они покидали комнату, — впервые вижу, чтобы слово сшибло человека с ног.

Медсестры, сдав дежурство, собрались домой.

— Ой, и как же я испугалась!.. — сказала, расширив глаза, Раиса Никитична и прошептала, будто кто-то мог услышать: — Леночка, а они ушли?

— Стоят еще на лестнице, — Леночка сняла халат, шапочку, вынула заколку, и на плечи хлынули свободно золотистые густые волосы.

— Раиса Никитична, вы домой собираетесь?

— Сейчас, сейчас, — Раиса Никитична завозила с сумкой. — Еще в магазин надо зайти... — глаза ее неожиданно широко округлились.

— Леночка! А кактус полить?

— Какой кактус?

— Да на подоконнике, я уж месяц полить собираюсь...

— Да на что ему вода, он же кактус! — рассмеялась Леночка.

— Все равно, хоть раз, а кактус без воды тоже не может, — убежденно сказала Раиса Никитична и, взяв поильничек с водой, зашаркала к подоконнику.

— Ну тогда я вас подожду, — Леночка устало села на табурет и подумала: сегодня обязательно схожу в кино, на какой-нибудь иностранный фильм, — в местном кинотеатре на этой неделе как раз шел фильм «Анжелика и король».

Тонкая струйка стекала в сухую глину. Раиса Никитична держала руку осторожно, чтобы не уколоться о заморские колючки. Потом подняла глаза, сквозь которые смотрела выцветшая добрая душа, и увидела горбатые крыши одноэтажной окраины Новотрубинска, где прошла вся ее жизнь, за ними зеленели поле и лес. В поле она увидела маленькую белоголовую девочку. Девочка щипала один за другим лепестки ромашки и шептала, сама не зная о ком: «Любит — не любит, любит — не любит...» Эта маленькая девочка была она. И, конечно, она уже и не старалась вспомнить, что сказал последний лепесток.

«Платформа Ильича»

Утро было холодным и хмурым, с коротеньким осенним дождичком. Леонидовна спешила на работу, забыла взять зонтик, и ее немного промочило. Ничего, подумала, в электричке просохну. Успела вовремя и втиснулась в забитый людьми тамбур последнего вагона, где ее мягко сдавило со всех сторон, и она не просохла, но согрелась, дыша теплым паром чужих дыханий, чувствуя запах въевшегося навечно в стенки тамбура сигаретного дыма и чего-то серого, грязного и немытого. До ее остановки пассажиры постепенно выходили, и в тамбуре стало свободнее — люди уже могли не касаться друг друга. «Следующая станция „Платформа Ильича“, — прохрипел репродуктор. — Осторожно! Двери закрываются!» Сразу в тамбур, к дверям справа набежали те, которым не терпелось поскорее выскочить из электрички.

Леонидовна не стала протискиваться им мешать, у нее была своя тактика: встать в сторонке у дверей слева, где посвободнее, и, дождавшись пока схлынет основной поток фабричных рабочих, выходить спокойно. И вполне успевала в поликлинику к началу рабочего дня, к восьми часам.

Так и сейчас: народ схлынул, и она спокойно вышла из последнего вагона на платформу с распластанными на гудроне мелкими лужицами после дождя.

На этот раз она, однако, была не последней: за ней вышли четверо юнцов, всю дорогу громко кривших матом и гоготавших. Она сначала хотела сделать замечание, но воздержалась, зная по опыту, что это приведет к еще большей агрессивности компании. Никто из находящихся в тамбуре мужиков также не приструнил юнцов, так чего ей было лезть?

Мужики же молчали, кашляли, зевали: для большей их части это было дело привычное, они по-другому и разговаривать не умели, а вот Леонидовна, несмотря на свои 35 лет, никак не могла привыкнуть, и приходилось как всегда сдерживать порыв, терпеть и скучать. К тому же надо было сохранить спокойствие до поликлиники, где она работала процедурной сестрой.

Таких как она, попадающих в любую вену, в поликлинике больше не было. Были врачи, с дипломами, а вот этого умения у них не было: Леонидовна колола, даже не видя вены, будто чутье какое у нее было на кровь. Ни разу за время работы она еще не промахивалась и этим гордилась: пусть они умные, а так, как она, ставить капельницы никто не умеет! Каждому свое.

Сойдя на платформу, она двинулась к железнодорожному мосту, куда устремилась основная масса людей.

Но как только сделала несколько шагов, как из-за правого плеча вынырнул паренек — невысокий, коренастый, с наглыми светлыми глазами под выступающими надбровными дугами:

— Эй, тетка! — дай на бутылку взаймы!

Рядом с коренастым возник длинный, с прыщавым лицом, и еще двое, перегородив ей дорогу.

— Мальчики, надо работать, а не попрошайничать!

— Слышали, как она к нам? Не уважает! А мы и не просим, мы и так взять можем! — и все четверо заржали.

— Нет у меня денег, ребятки, — удивленно сказала Леонидовна, — зарплату и ту задержали!

— А если проверить? — набычился коренастый. — Да ты не оглядывайся, нет твоих ментов нигде и не будет! А у меня самого брат в ментуре работает, — ухмыльнулся он.

И в самом деле, кроме них на платформе никого не было — лишь какой-то мужик вдали маячил на соседней платформе напротив стенда с изображением фанерного Ленина, куда-то рукой указующего. Тут она слегка испугалась.

— Ребята, да ведь у меня последние остались на продукты, ребенка кормить... Ладно шутить!

— Колян, а мы шутим? — спросил прыщавый и длинный коренастого.

— Тетка, давай по-хорошему, а то трубы горят!

— Ну все, все, дайте пройти, опаздываю...

Они стояли вчетвером перед ней и не думали двигаться: коренастый, прыщавый, кудрявый блондин и остроносый брюнет.

— Да нет ничего, сынки, вот вам крест!

— А ты покажь! — в руке коренастого вдруг тускло блеснуло стальное лезвие.

Леонидовна дрожащими пальцами вынула из сумки красный кошелек, раскрыла неловко, и на платформу выпали ключи на кольце от процедурной и дома и проездной в целлофановом кармашке с фоткой сына. Кармашек упал проездным вниз и круглой физиономией двухлетнего Димки кверху, улыбающегося из своего счастливого мгновения полгода назад... В кошельке было пару банкнот по 500 рублей.

— О, на два пузыря хватит! — выхватил деньги прыщавый. — А крестом клялась, что нет! Нехорошо, тетка!

А Леонидовна присела, собирая ключи и проездной с фотографией сына. Краем глаза отмечала фирменную адидасовскую обувь и джинсы коренастого, до блеска начищенные ботинки прыщавого и аккуратные стрелки на его брюках (явно материнская рука!). Она встала: и курточки на всех недешевые, брючки отглаженные, джинсы. Лезвие куда-то исчезло.

Внезапно ее разобрало зло.

— Да берите, берите хоть все! Тут еще мелочь осталась, доскребывайте!

— Не, — ухмыльнулся коренастый, — мы все не берем, мы благородные! — и подростки загоготали как гуси.

Отправив кошелек в сумку, Леонидовна торопливо засеменила к мосту.

«Опоздаю! — в страхе подумала, задыхаясь и поднимаясь на мост.

— От старшей влетит, а сегодня четыре капельницы ставить!»

— Во как побежала! — хохотнул кучерявый. — А ножки то-оненькие!

— Как тараканчик, — добавил остроносый брюнет, и все снова загыкали.

— Надо было б кошель взять!

— Чтоб вычислили? — возразил остроносый.

— Слышь, Колян, а ты и в самом деле смог бы? — спросил прыщавый коренастого.

- Ха! — ответил Колян.
- Не, ты тока попугать или как хотел?
- Ха! — ответил Колян.
- Не, ну скажи!
- А ты чо, может, думаешь, крови боюсь?
- Да не, я так...
- Вот и такуй!

Все снова заготовали.

- Мне через месяц в армию, в спецназ и крови бояться запаadlo!
За родину, бл*ть, всех урою!
- Парни, так чо, на работу? — спросил остроносый.
- Да мы чо, дураки работать, когда бабло есть? У меня сеструха в гастрономе работает, вынесет. Валим, мужики! — возгласил курчавый и, хлопнув коренастого меж лопаток, крикнул: — Спа-ар-так чемпион!
- Спар-так чемпион! Спар-так чемпион! — подхватили другие.

Промчалась, плаща не снимая, сквозь приемную, когда круглые часы вверху показывали ровно восемь. Вбежала в сестринскую, скидывая плащ и натягивая халат под недоброжелательным взглядом Бабарихи, как заглаза прозвали старшую.

— Капельницы уже в палатах! — будто осуждая, бросила Бабариха. Она всегда была на кого-то и чем-то недовольная.

«И чего она всегда такая? — удивлялась Леонидовна. — И муж, и сын взрослый, работает, и машина, чего еще желать? А от меня гад Сашка ушел к стюардессе, как только родила, и мама с больным сердцем с внуком мается... А потом еще эти, на платформе... Но не промажу, надо только реже и глубже дышать!» Она вышла из процедурной, выпрямившись стрункой, толкая перед собой столик со шприцами и спиртом. Ровнее, ровнее дыши! Улыбайся!

Вошла в палату, где полная женщина засучила рукав халата:

— Ой, а у меня с первого раза никто не попадал! — будто оправдывалась заранее.

Леонидовна завязала на руке жгут, взяла иголку и воткнула тонкое жало, открыла крантик: раствор во флаконе закапал.

— Не щиплет?

— Ой, я даже не почувствовала! — удивилась женщина.

— Ну вот и хорошо! — улыбнулась Леонидовна. — Когда будет заканчиваться — кнопку нажмете!..

В мужской палате черный волосатый кавказец встретил ее весело:

— Спасительница наша! Царевна Лебедь! — торжественно провозгласил. Тут проблем не было — вены толстые, как жгуты.

Закончив ставить четвертую капельницу, вытерла со лба пот и выкатила процедурный столик в коридор, где встретила дежурного врача анестезиолога Игнатова Сергея Сергеевича.

— Привет, Леонидовна!

— Здравсьте, Сергей Сергеич!

— Уже поработала?

— Уже!

Сергеич зашел к ней в процедурную.

— А я тут ночью обмишурился: тетку привезли совсем без вен! Пришлось венесекцию делать. И как это у тебя всегда получается?

— Не знаю, — улыбнулась Леонидова, пожав плечами. — Сергей Сергеич, — неожиданно для себя выпалила Леонидовна, — не дадите тыщонки две до зарплаты?

— Какие проблемы? — удивился Сергей Сергеич, и деньги оказались в руках Леонидовны.

— Представляете, шпана на платформе встретилась! — и, будто веселую историю, все рассказала.

— Ах, щенки позорные! Меня там не было! — погрозил внушительным кулаком Сергеич.

— Ты их запомнила хоть?

— Да уж узнала бы! У меня память фотографическая: коренастенький с наглыми глазами, прыщавый, кудрявый и длинноносый...

— Может, заявление написать в милицию? — неуверенно предложил врач.

— А толку-то? — отмахнулась. — Они и на убийство-то не всегда едут, а тут и свидетелей не было...

— Недоноски! — буркнул Сергеич. — А ведь вычислить элементарно: «Платформа Ильича» — конечная, значит фабричные, и едут этой

электричкой всегда. Пару рейдов сделать — и ты их верняк узнаешь! Притащить в отделение, нахлопать по ушам и родителям сообщить, чем их чады занимаются. Даже дела заводить не надо!

— А милиции какой толк с того? Вот была бы я дочкой мэра или кралей из управы, завтра бы нашли. А так кто я? — ноль без палочки, даже муж сбежал... Да и как мне, с утра отпрашиваться, что ли? У меня с утра дела поважнее: самая пахота, больные на процедуры ждут, очередь на анализы... Некогда мне свою жизнь с ихней путать, сами знаете: и малого надо разбудить, умыть, накормить, одеть, продукты после работы купить, матери лекарства — как белка в колесе! На работе только и отдыхаю. И видеть их больше не хочу. Они сами себе плохую дорожку выбрали, знаю, жизнь их без меня накажет: казенный дом или наркодиспансер. А я их быстро забуду — вроде как шла — споткнулась, выпрямилась и дальше иду, и про камень тот забыла...

— Это да, ты у нас незаменимая! — согласился врач. — Жаль, что не доктор.

— Да поступала я в медицинский, баллы не добрала, ну и ладно — у каждого своя дорожка. А как узнала — там блат такой!.. Спирту могу дать, Сергей Сергеич, только 50 граммов, а то Бабариха заметит.

— Ладно, давай! — усмехнулся врач.

Леонидовна аккуратно отлила в мерную мензурку.

Сергеич махнул в один глоток, крякнул и продышался, занюхав рукавом.

— Вы не тревожьтесь, Сергей Сергеич, я долг в получку сразу отдам...

Сергей Сергеич посмотрел на процедурную сестру долгим взглядом.

— Когда сможешь, тогда и отдашь! И все-таки, как у тебя всегда получается? Говоришь — не знаю, но что-то ты при этом чувствуешь?

— Знаете, Сергей Сергеич, только вам скажу — ведь не поверите: я вижу: и сосуды, и кровь текущую, и мышцы, только не так, как мы все вокруг видим, а как-то по-другому, а как сказать — не знаю!

— Значит от Бога! Дар! — задумчиво сказал Сергеич.

Леонидовна отвернулась к широкому окну:

— А про тех я вот что думаю: губят ведь себя! Я в храм схожу и свечку за них поставлю Николаю Угоднику: жалко мне их, а еще жалче родителей ихних.

Возлюби Ленина, как...

Из многих зданий невзрачного города Семипалатинска одним из самых приятных на вид было здание школы — трехэтажное, с портиком и пилястрами (привет Элладе!). Здесь я окончил первые два класса. Учила нас Алла Семеновна — толстощекая, белобрысая и добродушная женщина в очках, которую малышня любила. Незаметно мы стали читать, писать и считать... На год позже меня в школу поступила соседка по коммуналке Света Тиунова.

Каждый раз, когда я входил в школу, я видел над собой в холле красное полотнище с белыми буквами: «Учиться! Учиться! И еще раз учиться! — В.И. Ленин». Конечно, Ленин был самым умным из всех когда-либо живших на свете людей, но было непонятно, зачем же повторять три раза одно и то же?.. Лишь гораздо позже я понял стиль «вождя пролетариата»: убеждать не рассудком, а вдалбливать то или иное положение повторением.

Ленин был не только самым умным, но и самым добрым, самым скромным, самым честным и вообще самым-самым, образом, воплощающим все положительные черты, какие только могут быть у человека. Нет, не Бог, — ведь мудрые взрослые нас учили, что бога нет! Но такой совершенный человек, который раз в тысячу лет рождается, а может, и еще реже! Раньше богатые угнетали бедных, а он нашу страну от рабства освободил и всему миру путь такой же указал, к великому счастью, Коммунизму, когда все люди мира станут добрыми и счастливыми! И как же нашей стране повезло, что с нее он начал, — и маленькие сердца первоклашек переполняла радость и гордость!

И как в любой советской школе, здесь тоже висел стенд, посвященный семье Ульяновых, с одними и теми же каноническими фотографиями: херувимоподобный мальчик, похожий на девочку из-за длинных волос, — Ленин в детстве; Ленин в юности — уже с жиденькими усиками и бородкой, преждевременно начавший лысеть молодой человек; и, наконец, вполне оформившаяся плешь — кладезь всего такого замечательного, к чему только предстояло прикоснуться.

Произошло огромное событие — мы стали октябрятами! И я с гордостью носил на школьной гимнастерке красную звездочку с рубиновыми лучами и золотым херувимоподобным дитятей посреди. Но с какой же завистью я смотрел на тех, кто постарше, на пионеров, на их алые атласные галстуки. А как разглаживала галстук утюгом на кухне Людка и как красиво повязывала на шею, какой у нее получался замечательный, гладкий узел! Я жил в довольно уютной сказке, давшей

первую трещину лишь в третьем или четвертом классе при вступлении в пионеры.

Каким должен быть пионер, можно было прочитать на задней стороне обложек ученических тетрадей под таблицей умножения: всему пример — отлично учиться, любить социалистическую Родину, быть верным делу Ленина и коммунистической партии...

И я аккуратно старался во всем следовать этому катехизису, но каково же было мое изумление, когда я не попал в первую группу принимаемых в пионеры, а вошли в нее и троечники и, с моей точки зрения, куда менее верные делу Ленина, чем я.

Родители к моему горю отнеслись с удивительным спокойствием: не приняли сейчас, примут через полгода, весной... И вправду, приняли весной, вместе с самыми отъявленными двоечниками.

Ленин был вездесущ: памятники ему населяли улицы, площади, парки и скверы, его бюсты, портреты, плакаты с его изображением присутствовали соглядатаями во всех учреждениях, в больницах, парикмахерских и даже столовых общепита, он проникал в любое жилье на страницах газет, журналов, учебников и детских книжек — если не Ленин, то Маркс или ныне здравствующий генсек... его имя постоянно звучало по радио, учителя рассказывали, какой он был необыкновенный, замечательный, честный: разбил чашку и через месяц признался!.. о том, что его надо любить сильнее родителей, как Павлик Морозов, выдавший своего нехорошего отца-кулака!..

Любить этот образ, в котором не было ничего героического, было нелегко, но я смотрел на эту плешь, на эти хитро сощуренные глазки и бородку, усиленно убеждая, что люблю, люблю, вот уже совсем люблю... но сердце мое оставалось холодным и мне было от этого стыдно, я чувствовал вину предательства, которую необходимо как-то искупить...

Однажды, вернувшись домой после очередного урока, на котором нам снова что-то рассказывали о Ленине, я с жаром и восторгом стал вещать маме о том, какой замечательный был Ленин, а особенно добрый, непростительно и беспредельно добрый — Каплан в него стреляла, а он ее, злодейку, помиловал — так учительница сказала!..

Реакция, однако, была самая неожиданная. Пока я вещал эту ахинею, искусственно все более и более себя взвинчивая, мама пристально смотрела на меня тем взглядом, какого я у нее еще никогда не замечал, и вдруг сказала необыкновенно жестко и категорично: «Твой Ленин — негодяй, у него руки в крови!..»

Пожалуй, то, что я испытал, можно выразить лишь единственным словом — шок... В растерянности я еще открывал рот, как выброшенная на берег рыба. Как мог произнести такое кощунство самый любимый и близкий человек, моя богиня! Потом расхохотался: настолько потрясающей и нелепой показалась несведущность самого любимого человека. Я принялся доказывать, что это не так, и основным доказательством служило то, что «в газетах же пишут!»

...Печатное слово обладало некими непостижимыми сакральными свойствами, и эта его непостижимая сакральность, массовость, ежедневное присутствие в нашей жизни — сами по себе являлись гарантией его правдивости! Однако мама была непреклонна: «врут!» И единственное, что я мог на это возразить:

— Да как же это можно!?

Конечно, полагалось поступить как Павлик Морозов, пойти к учителю и рассказать все про маму, но какой-то страх удерживал. Инстинктом я чувствовал, что если так поступлю, произойдет что-то ужасное, непоправимое и для меня, и для моей семьи. Я долго не мог заснуть, решая извечный русский вопрос «что делать», все думал и думал, и, наконец, гениально придумал: нет, я никому не скажу о маминых словах, я ее перевоспитаю! И почувствовав себя счастливым, я крепко заснул. Я больше не был предателем! И я мог любить маму!

Харон

Море качало как люлька.

Сначала убегающая опалово-зеленая волна поднимала ноги, и голова оказывалась в водяной яме, и голубое небо отодвигалось ввысь, затем тело продолжало скользить, и ноги оказывались внизу, а голова у острого гребня, и открывался берег — тогда время от времени на лицо прыскал через лоб в глаза случайный гребешок, и воду приходилось стирать с бровей и глаз ладонью, чтобы яснее видеть. Штормило несильно, и в это время вода становилась мелово-зеленой, а в ясную тихую погоду она была синяя, и сквозь нее были видны, ближе к берегу, донные камни.

Было приятно от чувства невесомости и что почти не надо двигаться, только лежать, раскинув руки, а тебя качало то вверх, то вниз. Небо голубое с пушистыми белыми облачками, разбросанными кое-где, а с гребней волн открывался диковатый берег: три круглые горы, покрытые курчавым лесом, — две у моря, третья в глубине ущелья, и светло-серая тучка меж ними, — ближние горы обрезаемы обрывами

у моря в косую и желтую полоску, под одним углом у обеих гор — слои дочеловеческих эпох и сдвигов космической силы... Здесь, на Кавказе, береговые черты наивно просты и цельны, как детский рисунок, не в пример крымскому скалистому изыскачеству.

В ущелье — дряхлая турбаза со столовой, фанерными домиками, аллеей молодых сосенок, ведущей рыжей от опавших иголок тропинкой к морю; заросшей в верховьях, изгибом стремящейся к морю по его плоскому дну речкой Шепсдой, в это время года узенькой как ручей, весной, судя по гальке, заливающей почти всю долину. Только непонятной расцветки флаг развевается на длинном шесте недалеко от места ее впадения в море. Отсюда иногда берет, а вообще связи с внешним миром никакой — ни телефонной, ни радио не берет, ни телевизор — не проникают в ущелье электромагнитные волны. От флага вправо подалее — фанерная будочка лодочника с железной, затащенной на берег по идущим из воды над булыжниками рельсам моторкой. Собственно, это единственный путь во внешний мир: со стороны материка дорога — никакая, опасная, и раз в неделю каким-то чудом привозит грузовик продукты для столовой. Когда штормит, как сейчас, отсюда человеку не выбраться — лодку не спустишь, побьет сразу о камни, а узкую полоску между обрывами и морем, засыпанную крупными булыжниками, которую и в хорошую погоду преодолеть — проблема, заливают волной, и камни превращаются в штурмующие обрывы снаряды. Получается, как на далеком острове живем.

Но это не главное, главное — тишина и безлюдье. Сентябрь к тому же, бархатный сезон, люди предпочитают проводить в поселках и городах. Именно поэтому сейчас здесь только две стремящихся от посторонних глаз группы странных людей: йогов с Урала и цыганчиков из Москвы: сейчас они гоняют энергию чи под сводом бывшей концертной площадки — по собственным меридианам, толкаются на расстоянии, учатся ею управлять, передавать другому, в сеть ловить (ну это уж только инструктор может!).

Я в это время предпочитаю море — вот еще качнуло, еще... Ах, хорошо... возвращаться неохота!.. А вернемся мы морем через десять дней (если шторма не случится!), и перевезет нас в Кринуцу, ближайший поселок, связанный с большим миром нормальной дорогой до Геленджика, Харон из дощатой будки.

Чем-то сразу определяются лица из мира глубокой неволи. Худенький невысокий человек с руками-плетками, почти безволосым черепом, со светлыми неподвижными глазами, смотрящими на посетителя как на некоего чудака, пустого клоуна, насекомое, которому цены и в грош не будет. Лицо неподвижное, ко всему готовое — не улыбнется,

не нахмурится. Тонкие губы разжимаются редко и то, если что-то спросишь, и сразу замыкаются — лишнего слова не уронит, а на «здравствуйте» — вопросительный взгляд: мол, сразу говори, что надо. Ходит всегда полуголый, в шортах хаки, кожа красноватая... Чем-то похож на Голлума из известного фильма.

Раз все же выразил свое отношение к миру воли, когда сидели мы с инструктором на бревнах плавника у будки и покуривали:

— И как вы здесь живете? — Никакого порядка. Вот денег подзаработал, под матрац положил — украли... Да за такое в тюрьме!.. — Там порядок четкий! Сделал — ответ! А у вас каждый, что хочет, куда хочет и не найдешь кто... Какой порядок?

А что: в тюрьме — и телевизор есть, деньги припас — в ларьке можешь харч прикупить, даже бабу захотел — приведут! А здесь... — небрежно махнул рукой на фиолетовый горизонт. — Вот похолодает — снова сяду до лета...

Сколько ему — сорок, пятьдесят? Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь по имени его окликнул: все «эй!» да «эй», «эй, лодочник!», «эй, командир!»... Но дело свое делает четко, как договорятся, — в назначенное время выйдет, лодку спустит и очередных пассажиров возьмет. Дело свое знает и аккуратно выполняет. Пока. И когда, и какой ларек, грабануть, чтобы на зимовку в пенаты, уже, небось, прикинул...

— Как ВАС зовут? — однажды не вытерпел я.

Голубые глаза с испуганным удивлением поднялись на мою личность. С какой стати? — всегда — «эй, лодочник!», «эй, мужик!»...

— Как вас зовут? — упрямо повторил я. Я привык обращаться по имени-отчеству, мне это нравится, ведь этим в определенной степени человеку показываешь уважение, а поспрашивать хотел о погоде на завтра.

Голубые глаза смотрели на меня: зачем? А может, я мент?

— Женя, — после некоторой паузы послышалось. Надо же, человеку под полтинник, а он просто Женя! Настал черед удивиться мне. Голос его был негромкий, будто издалека, из почти забытого детства. Отчества я не дождался... Конечно, в своем мире у него имя другое, НАСТОЯЩЕЕ — «кликуха», «погоняло», имя, которое я вытянул, принадлежало другому человеку из другой жизни «до того». А по имени-отчеству к нему обращались лишь следователь, судья, прокурор... И сросшись с кликухой, которую фраеру знать ни к чему, он внутренне отрекся от отчества, отчества... связи с прошлым, и лишь это далекое, из раннего детства «Женя», которым впервые окликнула его мать, вдруг выпорхнуло.

Море было тихое, спокойное, лишь причмокивало мелкой волной.

— Женя, завтра нам на Криницу надо, к сколько подходить?

— К девяти... — и повернулся, уходя к своей станции-будке.

Утром за полчаса до назначенного времени мы с рюкзаками сидели на бревнах у лодочной пристани. Море было не вполне спокойным, однако зеленые волны небольшие и без гребешков. Как погода поведет себя дальше, непонятно, и мы немного беспокоились, ведь в случае задержки на завтра мы опаздываем на самолет и имеем шансы повторить судьбу Робинзона Крузо.

Около девяти Женя вышел из домика в непродуваемой ветровке и высоких сапогах.

— Все?

— Да мы уж заранее тут. Лодку не побьет о камни, потянет?

— Потянет...

Такого лица у него я еще не видел: серьезно-строгое, сосредоточенное (человек порядка!). Сдвигает лодку по рельсам в море.

— Залезайте!

Бросаем в лодку рюкзаки, вваливаемся и занимаем довольно удобные сиденья со спинками. Подумалось, что если того потребовал бы порядок, он с такой же ответственностью, без колебания, утопил бы нас всех. И ларек так же грабанет, когда похолодает, будьте уверены. Сказано — сделано!

Взвыл мотор, берег стал удаляться и разворачиваться с его серпантинными изгибами, прощай, Красная Щель!

Лодку ведет уверенно. В разговорах наших пустых участия не принимает, слова лишнего не уронит — ему бы Хароном работать, а приходится каких-то дураков и балаболов возить по побережью развлекаться. Может, потому и хмурый? Не скучай, Харон, не все сразу — каждая твоя пристань нас делает ближе к ТОМУ берегу Стикса. Всех — и умных, и дураков, тех, кто так себе... Так что отчасти ты не слишком идешь против своего порядка.

Утро ясное, в черную и желтую полосу обрыв удаляется. Волны небольшие, стеклянно-зеленые, без гребешков. Внезапно в них возникло черно-серое гладкое тело дельфина с серповидным изгибом плавника. Оно уходило в воду так гладко, что между ним и водой возникло лишь несколько воздушных пузырьков. И небо, и тигрино-полосатый обрыв, и зеленые чистые волны, и свежий ветер в лицо бодрили, радовали...

Через минуту мелькнул еще один дельфин (а может, тот же, которого мы уже видели), вызвав новую вспышку острой радости. Только лицо Харона неподвижно, — то ли для него все это успело надоесть, то ли главное правило тюрьмы — не выказывать своих эмоций: главное, время шло, и он приближал нас к иным, неведомым человечеству берегам.

А мы были пока счастливы. Широкой дугой всего за полчаса обогнули многочисленные извилины берега, образующие синусоиду мысков и заливчиков выползающего из вод отрогов Большого Кавказского хребта, с узкой каменистой полосой между горами, обрывами и морем, по которой мы чуть более недели назад осмелились тащиться пешкодралом с моей ведуньей Татьяной и моими полупарализованными ногами (один Бог только знает, как я не ломанулся или не получил растяжение на тех грудях булыжников!). Весь путь у нас занял тогда часов пять — от двенадцати как раз до момента, когда солнце неумолимо заваливалось за ближайший мысок и оставалось до лагеря всего лишь одну бухточку обогнуть. Палочкой я нащупывал между булыжниками опору справа, а слева весь путь поддерживала мое равновесие моя Ведунья. Но вот тут, несмотря на волшебство феи и палочку, мои ноги окончательно отказались мне повиноваться. Я предложил здесь же мне и заночевать, но Татьяна сбегала к лагерю, и добрые волшебники рослые парни-цигунщики, поддерживая меня справа и слева, доволокли до лагеря и опустили на кровать в фанерном домике, где я и мигом заснул, не раздеваясь. Вспоминая это похождение, я слегка улыбался.

Всего полчаса, и мы причалили к песчаному, не в пример каменистой Красной щели, благоустроенному пляжу Криницы со всякими приспособлениями для детишек, спортсменов и пенсионеров, обвисшими полотняными грибками от солнца, сложенными деревянными сиденьями, но в это время просторному и пустынному. Наш Харон, едва мы выгрузились, завел мотор и был таков. Трогательные прощанья со всякими «до свидания» или «удачи!» выходили за рамки его правил. А может быть, его расстраивало, что в очередной раз не получилось достигнуть иного берега Стикса? Ну а нас это почему-то не слишком расстроило, тем более, что совсем рядом находилась прекрасная маленькая шашлычная, вышибающая своим ароматом слюну. Шашлык был замечательным, может, еще потому, что я сказал молоденьким армянам обслуги несколько доставшихся мне от отца по наследству армянских фраз: «вон цес» (как дела), да «шат лав» (очень хорошо)... Мы запили мясо красным вином, заказали по мобильному телефону такси до Геленджика и отправились на пляж.

Море уже совсем успокоилось и, теперь ярко-синее, переливалось и подмигивало миллионом зеркал мелких волн, отражающих солнце.

Здесь растянулись на ласковом песочке, и солнце не жгло, а грело. Возможно, последний раз в жизни, со своей считающейся неизлечимой и каждый год прогрессирующей болячкой, я искупался. Вода была ласковой — материнский амнион, — прохладной, я доплыл до буя, повернул назад...

Такси уже ожидало нас, и, уезжая, я оборачивался еще и еще раз на эту синеву, на этот блеск, горизонт, будто пытаюсь глубже впечатать их в сознание...

За что я люблю море? — другого берега не видно, будто оно обещает бесконечность.

Нашенские

Бывший первый инструктор горкома, персональный пенсионер Иван Макарович Купузов стоял, тихо подпевая всем остальным, поющим также вполголоса и взволнованно: «Это есть наш последний и решительный бой, с интернационалом воспрянет род людской...» Несмотря на яркий летний день окна небольшого зала дома культуры имени Фридриха Энгельса, где происходило заседание коммунистов Электрогорска были наглухо занавешены тяжелой черной материей, около двух десятков свечей на сцене, на подоконниках и стульях не могли разогнать мрак, и по стенам двигались неясные тени.

«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...» — не в пример другим громко, церковно-протяжно пела рядом с ним худенькая дрожащая старушка со слуховым аппаратом.

Когда пенье закончилось, секретарь парторганизации, стоящий на сцене у красного стола, с графином на одном конце и портретом Сталина на другом, широко улыбнулся. Зубы у него были крепкие, желтые, один к одному, а улыбка настолько всеохватная, что зубов казалось гораздо больше, чем у обычного смертного. Эта известная всему городу улыбка принадлежала отставному генералу из политуправления армии.

Он вышел на пенсию еще при Брежнев, но его кипучий характер никак не мог примириться с бездействием. Устроившись лектором в общество «Знание» и став деканом «института Марксизма-Ленинизма» при горкоме, он в свое время объездил все коллективы и предприятия города с лекциями и политинформациями, и вот теперь взял на себя бескорыстный труд по руководству новой парторганизацией.

Рядом с ним, подалее от графина и поближе к портрету вождя, сидела пятидесятилетняя женщина без губ, отчего рот ее казался все время

плотно сжатым — бессменный секретарь секретаря, ведущий протоколы всех собраний.

В неверном свете стоящей перед портретом свечи казалось, что вождь слегка щурится, улыбается в усы и вот-вот изречет что-нибудь гениальное и ободряющее со знакомым грузинским акцентом.

Не садясь, секретарь поприветствовал собрание, состоящее в основном из дедушек и бабушек, среди лиц которых преобладало щучье выражение — режиссер, вознамерившийся бы снять детскую сказку, без труда отыскал бы здесь не менее дюжины классических типажей Бабы-Яги и не меньше Кашеев Бессмертных.

— Дорогие товарищи, — развел руками секретарь, — вы уж извините, что приходится проводить наше собрание вот в таких вот условиях. Сами понимаете, время сейчас какое — конспирация! А вспомните, как 2 съезд РСДРП проводили в Лондоне, почти так же, — он добродушно рассмеялся, вновь открыв свои бесчисленные зубы. — Между прочим, — он понизил голос, — в самый последний момент мною получены сведения, что наше заседание противник попытается любыми средствами сорвать, и вот видите... — указал он на потолок, — они думали лишить нас света, но не тут-то было... — секретарь сам перед собранием вывернул в щитке пробки: он считал полезным всякого рода тренировки для поддержания боевого тонаса однопартийцев, и активистки не подвели: с чисто партийной находчивостью в считанные минуты, как и было, впрочем, предусмотрено планом, раздобыли свечи в церкви напротив дома культуры.

— Не тут-то было! — поддержали его голоса.

— Гады!

— Сволочи!

— Демократы!

Над головами мелькнули сухие кулачки.

— Если надо мы и в темноте друг друга найдем! — задорно выкрикнула довольно молодая женщина с гладким красным лицом, счастливою улыбкой и восторженно неподвижными глазами. — Нам дело Ленина светит!

— Правильно, — слышалось, — по-нашему говорит!

Секретарь кивнул и многозубо улыбнулся под одобрительный гул.

— Даже, — продолжал он, чувствуя как всегда во время собраний захватывающий дух полет воображения, — я могу вам сказать, что

сегодня в этом зале присутствуют самые отважные, самые смелые, достойные наших вершивших революцию героических отцов и дедов. Не каждый мог бы прийти сюда, зная, что в любой момент может ворваться ОМОН! Низкий вам поклон за то, что пришли, дорогие товарищи!

— Кто сказал? Как ОМОН?! Почему не предупредили! — вдруг раздались резкие встревоженные голоса, и секретарь, поняв, что слегка перехватил, тут же самортизировал:

— Не волнуйтесь, товарищи, у нас на этот случай уже все предусмотрено, есть, так сказать, своя Красная армия! — он вновь очаровательно улыбнулся, погружая аудиторию в блаженство.

— Пусть только сунутся! — задорно крикнул, привстав, чтобы все его увидели, престарелый орденосец, высоко взмахнув палкой-клюкой.
— Я первому же вот этим по башке!

Купузов знал орденосца: ворошиловский стрелок, всю войну прослуживший на Колыме в лагерной охране.

— Пусть сунутся! — слышались задорные крики. — Мы их в окна вышвырнем!

— И я тоже кой-что припасла, — захихикала соседка Купузова со слуховым аппаратом. Она неожиданно молодо подмигнула ему, обтянутая кожей костлявая ручка приоткрыла сумку, показывая что-то, и, присмотревшись, Иван Макарович увидел угол силикатного кирпича.

Иван Макарович Купузов был человеком неглупым, он, конечно, ни на миг не поверил ни в «конспирацию» (какая там конспирация, если за два месяца все автобусные остановки в городе были оклеены листовками, созывающими рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию на всенародное «вече»!), ни в то, что в зал ворвется ОМОН, ни, конечно, в Красную армию, и все же ему было приятно находиться здесь. Во всем этом слышался отзвук привычной и уютной, как matka, кормившей всю жизнь, лжи. Всю жизнь ему врал, всю жизнь он врал другим, а теперь с удовольствием врал себе, думая: «А ведь мы верили во что-то!» Теперь ему было приятно так благородно и грустно думать, да главным сейчас были вовсе и не слова, а какое-то настроение, которое объединяло этих людей, как нечто неуловимое смыслом, но объединяющее биологические индивиды в стаи животных, рыб и птиц...

Неожиданно в зале вспыхнул свет — зажглись лампы.

— А-а!.. А-а!.. — раздалось злорадное, и в воздухе снова замелькали жилистые костлявые кулаки, кому-то грозящие.

Секретарь широко улыбнулся, будто заслуга восстановления электрического освещения принадлежала лично ему, деловито попросил аккуратно затушить свечи. Он чувствовал, что все это должно выглядеть достаточно символично: как-то ненавязчиво рождало нужные ассоциации — лучина в избе, лампочка Ильича, план ГОЭЛРО, «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны!»...

Где-то в рядах даже вспыхнули аплодисменты, кто-то встал.

Секретарь скромно улыбнулся и успокаивающе задирижировал.

Неожиданно одна из дверей в зал приоткрылась, и показалась лохматая молодая голова.

— Свет есть? — спросила голова.

— А ты кто?

— Электрик я... а то пробки кто-то вывернул, в казино темень...

— Ах, электрик...

— Видели мы таких электриков...

— Агент!

— А вы что, фильм про революцию репетируете? — спросил электрик.

— Вон отсюда! Вон! — закричали партийцы. — Кто там ближе, дайте в лоб этому сионисту!

— Да ты чего, бабуля, — ошалело выпучил глаза электрик, вовремя увернувшись от клюки и захлопнув за собой дверь.

— Так вот... И не высовывайся, — послышались удовлетворенные возгласы.

— Споемте, друзья. Ведь завтра в поход, уйдем в предрассветный туман... — победно затянул в зале довольно звонкий и чистый голос.

Вновь вскочил с первого ряда орденосец-тыловик:

— А не слабо нам спеть в полный голос, товарищи, нехай слушают враги революции и локти кусают!

— Не слабо, не слабо! — раздались голоса. — Давайте что-нибудь революционное!

— Вихри враждебные веют над нами... — запели несколько голосов, и все подхватили, вставая: — темные силы нас злобно гнетут... час роковой... — тут неожиданно количество поющих голосов резко упало: большинство помнило лишь первые две строки.

Куплет допели лишь немногие голоса, и все, не сговариваясь, сели. Сам секретарь, вынужденный поддержать незапланированный порыв масс приоткрыванием рта, задирижировал, беря вновь управление собранием в свои руки.

— Хорошо, хорошо спели, товарищи, — улыбнулся он, — от хорошей песни кровь моложе становится, но у нас много работы, я тут кое-что набросал, — зашевелил он бумажками на столе, — но сначала надо выбрать председателя и секретаря.

Как уже повелось, председателем выбрали его же, а секретарем — безгубую женщину у портрета Сталина. В президиум также попал «потомственный рабочий» Семен Митрофанович — краснолицый пожилой толстый человек, примечательный своей великолепной седой гривой, густыми бровями и удивительно низким лбом. Редко кто мог услышать его голос: в основном он или хмурил свои пышные, как одежные щетки, брови или милостиво улыбался, но чаще сидел с видом невозмутимой важности.

— Единогласно! — бодро кивнул секретарь, окидывая зал взглядом.

Затем председатель прокашлялся и вытащил бумажку:

— Тут у меня кое-что наметано: первое — небольшой доклад по текущему моменту, второе — вручение партийных билетов новым членам, — он прокашлялся, зорко и испытующе оглядев зал, — и третье — выработка программы действий, кхм, нашей, теперь я уже с гордостью могу сказать, молодеющей партийной организации на ближайшее будущее, и четвертое — прения... Кто за? Единогласно!

Неожиданно дверь открылась, и на пороге показался скучающий неряшливый молодой человек с мешком в руке.

— Вам кого?

— Коммунисты здесь, что ли?..

— Здесь...

— А тебе что, — выкрикнул кто-то. — Иди своей дорогой, хороший человек...

— Стойте, стойте, — помахал рукой председатель, — так с человеком нельзя, нам с людьми работать надо, а не гнать их... Вы по какому вопросу, товарищ? — ласково улыбнулся он.

— Да вступить хотел... — вяло сказал молодой человек, обводя равнодушными глазами зал.

— А кто таков будешь?

— Петухов я... Лешка Петухов, — также безразлично ответил молодой человек. — Так чо, берете?

— Заходите, заходите, товарищ Петухов, там у нас, кажется, есть места, — пригласил председатель, вновь демонстрируя кукурузный початок зубов.

— Ну, е..., еле нашел, — сказал Петухов, подошел к ряду, опустил на пол мешок, в котором брякнули пустые бутылки. Половину сегодняшнего дня он занимался обычным делом, собирая их в сквере между Домом Культуры и церковью, отогнал от «своего» участка двух бабок и одного доходягу, получив достойный урожай, который мог бы вполне обеспечить бутылку водки, как увидел на фонарном столбе старое пожелтевшее, частично смытое объявление: «Граждане Электрогорска! ... всенародное вече ... состоится в клубе Фридриха Энгельса ... в субботу ...25 сентября, в 13 часов. Долой правительство демофашистов!»

— Придется немного отклониться от протокола, — улыбнулся секретарь, — жизнь вносит свои коррективы, вот — свежий человек...

— По запаху чую — свежий! — взвизгнула находящаяся ближе всех к Петухову толстуха, внезапно сорвавшись со своего места и демонстративно перейдя на несколько рядов вперед.

Петухов проводил ее ничего не выражающим равнодушным взглядом.

— Ну, расскажите, — улыбнулся председатель, — что вас к нам привело, что это вы про коммунистов вдруг вспомнили.

— А чо, надоело все, — махнул рукой Петухов, — раньше лучше было, ема, раньше жизнь была...

— Дело говорит! Молодец! — слышались голоса из зала. — Пусть говорит!..

— А чо, раньше свобода была, раньше кто мне хозяин — никто, хочу начальника цеха на хер пошлю, хочу — директора и никто мне слова не скажет... и на бутылку всегда хватало... а счас работы, значит, нет, вот, бутылки собираю, — и уж совсем неожиданно для себя добавил: — ...на лекарства матери, — с изумлением почувствовав, как защипали глаза непрошенные слезы, выдохнул: — Стыдно!..

— Нас держись, не пропадешь, нас, — загудело собрание.

— В кандидаты его!

— Товарищ Петухов, партия наша народная, от рабочего человека никогда не отворачивается, но у нас все работают, один старый за десять молодых пашет, чем бы вы могли партии помочь, себя проявить? У вас у самого идеи какие есть?

Петухов пожал плечами, подумал:

— Ну, на атасе постоять и всякое такое, я завсегда...

— Хорошо, хорошо, товарищ Петухов, но этого мало, вы должны совершенствовать свое политическое мышление... Хорошо, предлагаю вас пока в кандидаты... Кто за?... — Единогласно!

— Ну, я пошел, — сказал, поднимаясь, Петухов, брякнув стеклом в мешке.

— Куда? — удивился председатель.

— Как куда, бутылки сдавать, — пояснил Петухов, — обеденный перерыв кончился!..

— Возьмите, возьмите его адрес, — закричал председатель. Подбежала бойкая улыбчивая старушка с блокнотом и карандашом, они с Петуховым о чем-то живо переговорили, старушка что-то записала, потом Петухов не спеша пошел к выходу, и дверь за ним закрылась.

— Что с человеком сделали! — сочувственно сказал кто-то вслед.

— Проклятый капитализм! — добавил другой.

— Я б этих новых русских всех в Сибирь! — крикнула старушка со слуховым аппаратом.

Купузов слегка поежился, вспомнив белый мерседес сына.

— Конечно, капитализм — это плохо, — произнес председатель, до которого долетела последняя реплика, — и наша задача всеми силами бороться за социализм, но я вам скажу, не все новые русские плохие, — он таинственно понизил голос, — некоторые даже помогают нам!

Купузов облегченно вздохнул и расправил плечи: ему понравилась гибкость мышления председателя.

Далее, наконец, собрание вернулось к протоколу. Маленький толстый человечек зачитал доклад о происках мирового империализма и сионизма, потом снова немного покричали на демократов, спели «Уходим завтра в море» и перешли к вручению партбилетов.

На сцену вошла розоволицая веселая женщина с восторженной, будто приклеенной навсегда улыбкой.

— Ну вот, — сказал председатель гордо, — а говорят у нас в партии одни старики. Вот и молодые уж пошли: шире-дальше! Наталья Нечитайло — наша первая ласточка, поздравляю тебя, Наталья, с вступлением в Российскую коммунистическую партию! И позволь вручить тебе

партийный билет, — он встал, массивный и уютный как буфет, добродушно облапил Нечитайло и трижды поцеловал в щеки.

Молодая женщина обернулась к залу, прижимая к груди красную книжицу, в глазах ее блеснули искренние слезы волнения.

— Дорогие товарищи, — начала она, — это самый волнующий день моей жизни... Слов нет... Спасибо вам! Низкий поклон!.. — она медленно и низко поклонилась залу, который взорвался долгими аплодисментами. Когда они утихли, она все стояла на сцене, потом высоко подняла книжечку и крикнула:

— Да здравствует коммунистическая партия России!

— Ура! — закричали в зале и снова зааплодировали.

— Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза!

— выкрикнула она, и что-то злое, решительное мелькнуло за ее внешней округлостью и гладкостью.

Зал еще сильнее закричал «Ура!», и в воздухе замелькали руки и палочки.

— Пусть живет дело Ленина и Сталина!

Зал восторженно кипел.

Когда наконец установилась тишина, Наталья Нечитайло повернулась к столу председателя, но взгляд ее был устремлен не на него, а на портрет «вождя народов». Неожиданно воцарилась тишина.

— Дорогой, любимый Иосиф Виссарионович! — четко и звонко заговорила Наталья в углубляющейся тишине. — Ты слышишь нас?!

Все замерли, казалось, и в самом деле вождь вот-вот ответит, но он лишь загадочно помалкивал, пряча хитрую улыбку в усы.

— Клянемся бороться что есть сил за светлое будущее социализма, всегда быть достойными тебя!

Наталья по-пионерски отсалютовала портрету, попыталась было сбежать в зал, но председатель не пустил, отечески облапив, оттеснив к красному столу и усадив рядом с графином.

После Нечитайло в члены партии приняли какого-то сухонького, мало знакомого Купузову старичка, который покался, что голосовал в свое время за Ельцина, а теперь ему даже пенсию вовремя не выплачивают. Эта процедура прошла уже довольно спокойно.

Однако с третьим вступающим в партию кандидатом, вернее вступающей, произошел скандал.

Председатель зачитал имя кандидата: Ривкина Ада Семеновна. С места поднялась худощавая надменная, средних лет, седеющая брюнетка.

— И тут явреи! — неожиданно прозвучал в зале явственный и какой-то просевший от невольного изумления голос. Все обернулись: голос принадлежал бабуле с картофельным носиком, в повязанной на затылке косынке, вовсе не ожидавшей, что реплика будет услышана.

По бледным щекам еврейки поползли красные пятна.

Председатель постучал ручкой по графину; звон был явственно слышен в тишине, и все затаили дыхание, а сама бабуля видно слегка струхнула, неожиданно став центром общего внимания, заерзала, засуетилась, как-то глупо ухмыляясь.

— Я прошу, — наконец произнес председатель. — У нас партия интернациональная... Русская, но интернациональная... и призываю всех отнестись с должным уважением, — он кашлянул и оглянулся, словно в поисках кого-то, — к основателю нашей партии, — председатель кашлянул сильнее, — Карлу, нашему, Марксу...

Зал будто тихо выдохнул и поник, а Ада Семеновна горделиво выпрямилась, будто она была соавтором «Капитала», и веско произнесла:

— Я вступаю в партию по убеждению!

— Конечно, конечно, — закивал секретарь, — здесь все по убеждению... И к тому же, — нравоучительно продолжил он, — для нашей партии важно не то, какой ты нации, а советский ты или нет. Если ты советский, значит русский. А значит Ада Семеновна русская! Я бы вообще в графе национальность так и писал бы — советский русский!

— Я более русского, чем Сталин, не знаю! — выкрикнул ворошиловский стрелок, по своему обыкновению тряхнув палкой.

Раздались негустые аплодисменты, неизвестно к кому относящиеся, — то ли к Аде Семеновне, то ли к Сталину, то ли к стрелку, — однако удачно сгладившие неловкость момента. Вот этот-то ворошиловский стрелок и взял слово в прениях.

Скованным, но твердым шагом он прошагал к трибуне, слегка вскидывая правое колено, держа в руках серую общую тетрадь. Поднявшись, встал за трибуну, оперся левым локтем, положив перед собою тетрадь, устремил в зал крохотные, глубоко спрятанные дальнозоркие глаза.

— Вот тут говорили, — начал он, сощурившись, — всякое говорили... и болтали, — он сделал многозначительную и угрожающую паузу.

— Теперь я вам вот что скажу... Болтун — находка для шпиона! Поняли?

— и вновь пауза. — Не поняли?.. А я вот про что... У меня к примеру сосед... Ну, фамилии не буду называть... вам не буду называть... тут записано, — он постучал ногтем по тетради. — В девяносто первом (стрелок поднял сухой указательный палец) бегал туда-сюда... митинги всякие, собрания, слова, значит, всякие говорил... Он уж про то и думать забыл — когда да как... А у меня тут, — стрелок постучал пальцем по серой тетради, — все записано! — Где, когда, чево говорил... Я эту тятрадь с восемьдесят пятого веду, как этот, меченый, — он показал ребром ладони на лбу, — там, — указал пальцем в потолок, — сел... Я эту тятрадь никому не отдам (поворот в сторону президиума) — пока... Я ее у себя под подушкой держу! Пока, значить, время не настало! У меня все тут, — хлопок по тетради, — сто двадцать восемь! Кто говорил, чево говорил, куда бегал... Они уж, к примеру, и думать про то забыли, а здесь в тятради все осталось, часа ждать осталось... А меру, меру, значить, определит советский суд!

В гробовом молчании орденоносец-конвоир торжественно спустился со сцены и проследовал на свое место.

Далее среди участников собрания возник оживленный спор, как различать врагов и неблагонадежных и какую меру правильной принять: расстреливать сразу, или сначала отправлять в сибирские лагеря, но не dospорили, потому как кто-то вдруг предложил «пока не поздно» перенести тело Ленина из Москвы в Электрогорск, а если возникнут сложности, то вообще отделиться от России и организовать в Электрогорске независимую социалистическую республику.

Поступило много интересных предложений, но Купузов уже сидел как на иголках, еле вслушиваясь и поглядывая на часы.

Однако всему на свете приходит конец: закончилось и собрание, были подняты черные занавески, выключены лампы, и в ярком солнце заиграла пыль.

Купузов вышел на улицу и остановился у перехода: прямо на него мчался белый мерседес. Через мгновение мерседес притормозил рядом.

— Эй, батя, домой подбросить? — высунулся из машины Купузов-сын, красное широкое лицо его ухмылялось.

— Езжай, езжай, — махнул рукой Иван Макарович, боязливо оглядываясь, он не хотел бы, чтобы его сейчас заметил кто-нибудь из партийцев, — мне еще в церковь надо...

— А, грехи замаливать, — снова ухмыльнулся сын, — бабла у Бога попроси побольше... А я в баню!..

Мерседес дернулся и помчался в капиталистическое будущее.

— Ну и поколение, ни во что не верят! — грустно подумал Купузов-старший вслед.

Золотой купол сиял над зеленью сквера. У самых ворот Купузов неожиданно столкнулся с Кирсанычем.

Кирсаныча Купузов не любил, тот тоже одно время работал в горкоме, всю жизнь лез куда-то и ничего у него не получалось: сначала хотел сделать карьеру в профкоме машиностроительного завода, потом подался в демократы, но и там звезд не хватало.

Купузов попробовал было сделать вид, что его не заметил, но Кирсаныч, распахнув руки, удивленно воскликнул:

— Здорово, Макарыч, никак в церковь собрался?!

— Здорово, — хмуро кивнул Купузов. Кирсаныч стоял неудобно, не давая возможности сразу пройти мимо.

— А помнишь, как ты меня в партию не принял за то, что я сына крестил? — радостно воскликнул язва Кирсаныч.

— Ну, знаешь, время было такое, — нахмурился Купузов.

— Знаю, знаю, а теперь другое? — закивал Кирсаныч, снова ухмыляясь чему-то.

— Теперь другое, — сказал Купузов тоном, не допускающим шуток, непонятно почему раздражаясь, и, наконец, протиснулся мимо Кирсаныча в церковный двор, унося с собой, однако, что-то нехорошее, как ожог крапивой.

Но когда он переступил порог церкви, то сразу забыл Кирсаныча — так здесь было тихо и торжественно: горели свечи, сияло золото окладов икон и царских врат, под высокий купол уносились крылатые фигуры.

Купузов купил три свечки и направился к серьезным темным ликам на иконах. Подойдя к ним остановился и задумался.

Он думал о том, что Бог, наверное, все-таки есть. Иначе как же объяснить, что все вдруг рухнуло? «Господи, — думал он, — ведь нас все боялись! У нас же самая сильная в мире армия была! Боеголовки, госбезопасность! Мы же любому могли пасть заткнуть! Они только по углам шушукаться умели, улыбочки кривить, да фиги в карманах держать, а так, все как дрессированные на демонстрации ходили, ура орали по команде, в художественной самодеятельности песни пели про Ленина, который такой молодой, про советскую конституцию! Боялись, гады, все боялись!.. Нет, они не сила! Видать, тут и впрямь без Тебя

не обошлось! Все-таки зря мы вначале рассорились... погорячились, а вместе любые горы своротили бы! Нет, теперь надо поумней...

Значит Ты есть? — выпрашивал он мысленно, глядя на вытянутый лик Спаса-Вседержителя. — А ежели Ты есть, мы Тебя не отпустим!»

И зажигал, и ставил свечи у иконы Нечаянной Радости, шевеля губами: первую — за Ленина, вторую — за Сталина, третью, чтобы сын бросил пить...

1997

Много ли нам надо воздуха?..

1

Маленький морщинистый, как сухофрукт, старичок Богомоллов жил в кладовке. Там он любил просиживать днями в шезлонге, шелестя газетами. А выписывал он все важные государственные газеты: и «Известию», и «Правду», и «Труд», и «Комсомольскую правду», и, конечно, местную «Огни Новотрубинска». Газеты не выбрасывал, а с незапамятных времен складывал здесь, и они уже заполнили больше половины кладовки. Возвращаясь к ним, перечитывал, сравнивал, что-то отмечая, подчеркивая, и шуршал, шуршал, шуршал... Дверь в кладовку была всегда приоткрыта, и домашние привыкли видеть, как оттуда валит сигаретный дым, будто в кладовке начался пожар.

— Дедуля! — говорила со смехом, время от времени заглядывая туда, белая и свежая внучка-десятиклассница. — Да чем же ты здесь дышишь!?

— Э-э, — хихикал Богомоллов, — да много ли нам старикам воздуху надо?

— Вышел бы, погулял, так на улице хорошо!

— Что-то сегодня неохота, устал...

— Да ты оттого и устал, что на воздухе не бываешь, ну хоть бы на балкон вышел... Такое солнышко! Еще куришь...

Богомоллов улыбался, но почти никогда не следовал совету внучки. Внучка была единственным человеком, которому он улыбался. Ему была приятна ее ничего не стоящая забота, хотя и в полную искренность такой заботы Богомоллов не верил. Жизнь приучила его не верить никому и ничему. «Ишь ты, хитренькая, — думал он, — подлиза!» — но все равно не мог побороть в себе приятного, расслабляющего, как мимолетный дурман, чувства.

Другие домашние побаивались старика. С женой, Дарьей Петровной, он уже давно не разговаривал. Она лишь приглашала его к столу и время от времени оповещала о необходимости смены белья и банных мероприятиях. Подобострастные улыбочки и ужимочки невестки Любы не могли его обмануть. Сквозь их ватную оболочку он чувствовал ядовитое острие выжидающей ненависти. Сын? — Сына почти не видел. Егор целыми днями пропадал в гараже с собутыльниками.

Вот уже несколько лет Богомоллов вовсе перестал покидать квартиру. Случилось это не сразу, после того как он вышел с почетом на пенсию в должности замчалника отдела кадров одного секретного предприятия нашего города (такого секретного, что все новорубинцы говорили о нем только шепотом или, по крайней мере, вполголоса). Собственно, написать заявление «по состоянию здоровья» его вынудили. Сам он лучше, чем кто-либо, понимал, что почетные проводы, на которых многие сослуживцы даже не пытались скрыть своей радости, лишь ширма для отвода глаз. А в действительности он пал жертвой чудовищных интриг директора предприятия, этого фигляра, сопляка, который всегда ставил свои интересы выше государственных, который метил устроить на его место свою любовницу! Но он ушел молча, ибо знал, что в жизни самое бесполезное занятие — бороться за справедливость.

После увольнения (а он называл случившееся только так) прямая необходимость выходить на улицу отпала. И все же иногда он гулял в сквере, находящемся недалеко от дома. Здесь, на лавочке, в аллее, что ведет к бюсту Карла Маркса, он посиживал в хорошую солнечную погоду, читая газету, или просто, отложив прессу, смотрел на белую с синей луковицей церковь напротив, удивляясь бесполезности ее красоты.

Однажды, сидя вот так на лавочке, он увидел идущего через сквер такого же, как и он, пожилого человека с палочкой, и этот человек показался ему знакомым. Человек остановился напротив лавочки, как бы переводя дух, и пристально посмотрел на Богомоллова, однако, не поздоровавшись, застучал палочкой дальше. Это не понравилось Богомоллову. С тех пор он стал время от времени ловить себя на ощущении, будто из-за кустов кто-то за ним следит, и иногда этот кто-то был настолько близко, что Богомоллов чувствовал сзади его дыхание. Не раз он пытался засечь неизвестного соглядата: резко, насколько позволял шейный остеохондроз, оборачивался (чем однажды ввел в большое недоумение шедшую позади толстуху), тыкал палкой в кусты — но все совершенно бесполезно! Соглядатаю всегда удавалось

вовремя скрыться, очевидно, он был гораздо моложе и проворнее, однако не исчезал совсем, а продолжал наблюдение откуда-то издали.

А однажды, когда Богомоллов уже совсем близко подошел к своей излюбленной лавочке, дорогу ему перебежала кошка. Не черная, правда, — в тигриную полоску, но, чертыхнувшись, старик остановился и предпочел вернуться, намереваясь достигнуть другой лавочки. Но не успел сделать и двух шагов в обратном направлении, как кошка, но уже другая, какая-то в дым серая, метнулась ему наперерез. Богомоллов растерялся и встал, словно наткнувшись на стену. Постаравшись взять себя в руки, он принялся размышлять, что же следует далее совершить... Оглянулся туда и сюда, надеясь, что случайный прохожий пересечет кошачьи маршруты, но дорожка была пустынна, только сусальный Карл Маркс, труды которого он исправно и аккуратно конспектировал всю жизнь, безмолвно взирал на него выпученными глазами из глубины аллеи с тем выражением, с которым орнитолог созерцает проколотую бабочку. Кстати, бабочки здесь тоже порхали с цветка на цветок, свободно и бездумно. Может, позвать кого, крикнуть, что плохо с сердцем?.. Но кто его здесь услышит?

Помощь пришла неожиданно в виде розово-синего с белой полосой мяча. Откуда ни возьмись он косо вылетел из зеленого кустарника, стукнулся о дорожку и, раза два подпрыгнув, покатился, закувыркался синим и розовым, все медленнее, медленнее и остановился у самых ног Богомоллова. Ветви раздвинулись, и возник малыш лет девяти, разгоряченный игрой краснощекий толстячок с белобрысым ежиком и выпуклыми глазенками. Открыв рот, он уставился на Богомоллова, ожидая от него естественных ответных действий, как-то: сердитое замечание или же подталкивание палочкой мяча в его сторону... Однако Богомоллов оставался безмолвен и неподвижен. Чем-то озадачила малыша эта неподвижная, похожая на старого аиста или, скорее, коршуна, фигура старика. А что если дед вздумал присвоить его мяч?! — Но нет, он никому не собирается оставлять свой мяч затак! И с яростным сопеньем малыш бесстрашно кинулся вперед, пресек кошачий маршрут, наклонился за мячом, и когда он наклонился, его белобрысый затылок был так близок, что Богомоллов мог бы без труда прикоснуться к нему кончиком палки. Крепко схватив мяч, малыш кинулся прочь, вторично пересекши маршрут, и только теперь Богомоллов, не спеша, двинулся домой: сидеть на лавочке ему уже расхотелось.

Было совершенно очевидно: на улице он менее защищен, чем дома. Сидя в кладовке, он созерцал розовые цветочки на желтых обоях, испытывая приятное ощущение наконец-то достигнутой безопасности

и надежности. Иногда, правда, стенка кладовки колебалась и растворялась, и перед ним оказывалось все то же Хитрое Болото, чавкающие в грязи сапоги, гул сосен, ямы, быстро заполняющиеся водой... В спецмероприятиях он принимал участие всего несколько раз. «Делать куклы» — так между собой их называли сослуживцы. В отличие от некоторых стрелков, стрельба по людям не доставляла ему удовольствия, и он предпочитал как можно скорее заканчивать с этой процедурой. Его учили: «кто не за нас, тот против нас!», уничтожение врага — почетная обязанность. Он рано понял, что жизнь — волчья борьба и ничего более, а все остальное — выдумки для дураков и легковверных, но надо, надо выкрикивать эти лозунги, клятвы, надо делать вид, что ты веришь, тужиться верить — таковы правила игры, и он кричал, выкрикивал эти лозунги на партсобраниях и политзанятиях, рвал на груди гимнастерку, и чем громче кричал, тем больше разрастался в нем животный ужас, которому надлежало поклоняться.

Угрызений совести он не испытывал, пусть их выдумывают всякие писателишки и интеллигентики. Он исполнял дело, которое от него требовало общество, все общество, так что если уж говорить о вине, то рыльце в пушку у всех!

Шумели сосны над Хитрым Болотом, валялись на земле куклы в драных лохмотьях... Почему-то после акции сосны шумели особенно громко и явственно. После исполненного государственного дела стрелки могли немного расслабиться: пили спирт. Они почти никогда не смотрели туда, где лежали они — враги, ставшие в момент куклами. Хотелось поскорее вернуться домой, в тепло и навалиться на бабу: почему-то после исполненного революционного дела особенно сильно томила похоть.

...Сквозь ледяной туман болота начинали проступать розовые цветочки обоев, и он думал о том, что сейчас молодым живется куда легче, все ж значит не зря... не зря... Спасибо государству!

Легко живется молодым, слишком легко. Вот у Егора — и машина, и квартира... А результат?.. Глушит водку с утра до ночи с друзьями в гараже... Внучка тоже непутевая, вечерами в дом не загонишь. А тогда все его имущество умещалось в солдатской тумбочке, которая стояла в изголовье кровати казармы (даже после того как получил погоны офицера). А эти бесконечные северные зимы, морозы, тяжелая сибирская река, серая тайга и серые вереницы заключенных и конвой, конвой в любую погоду... Спасибо, государству отблагодарило: трехкомнатной квартирой в центральном районе страны, где нормальный климат, и кое-что на книжке осталось: шесть тысяч, сумма по нынешним временам невиданная — хоть машину сразу покупай!

Мысль о сберкнижке наполняла его тихим блаженством, но в следующий миг он чувствовал тревогу: «На месте ли?»... Потихоньку, чтобы никто не заметил, он частенько ее перепрятывал, когда оставался в доме один. Он знал, как мечтают домашние заполучить эти денежки — и жена, и невестка, и сын... да и внучка туда же глядит: с чего это вдруг она такая добренькая стала?!

— Дедуля, иди на обед! — крикнула внучка в дверь и убежала. Он медленно встал и зашаркал в столовую.

Егора, как обычно, за столом не было, остальные — в сборе. Дарья Петровна разливала по тарелкам щи, пока все рассаживались: он, невестка, полнотелая, с маленькими глазами женщина, с лицом, к которому будто навсегда приклеилось выражение хмурого недовольства, внучка Даша. За окном голубело какое-то дурацки наивное небо, солнце золотило дашины волосы. Женщины говорили о ценах на продукты и шмотки, в каком магазине что кто видел и, казалось, не могло быть тем более увлекательных. Даша часто включалась в разговор, бойко сыпала цифирками цен и размеров, как бы красуясь, какая она уже взрослая. И, как это бывало все чаще, Дарья Петровна, покачивая головой, одобрительно говорила:

— Совсем невеста Даша стала!

— Кушай только лучше, половина в тарелке остается! — замечала мать, и ее недовольное выражение несколько смягчалось.

— Мам, да у меня уже лифчик лопается! — возражала Даша.

— Да-а, скоро замуж... — хитро подмигивала бабушка.

— А чего там я не видела? — кокетливо дернув круглым плечом, говорила Даша.

— Как зачем, — удивлялась бабушка, — все женятся, а потом детки...

— И то верно, — сказала невестка, косясь на Богомолова, — в девках не засидится, тут и о приданом подумать надо сначала... Вот, может, родной дедуля поможет...

Все как один замолчали и посмотрели на дедулю.

С перекосившимся в усмешке сухим ртом Богомолов медленно отложил ложку и объявил:

— Все приданое Дашки — в ее жопе!

Даша вспыхнула, швырнула ложку об стол, вскочила и выбежала в другую комнату.

— Ну, дедка! Посмеешься еще у меня! — погрозила кулачком в приоткрытую дверь.

Невестка медленно багровела. Обед был необратимо испорчен.

2

В то утро, не говоря никому ни слова, дед стал собираться на улицу. Невестка и внучка переглядывались с обычным недоумением, и снисходительной насмешливостью молодости и зрелости над бессилием старости: «Никак на свидание собрался!» Старик надел праздничный костюм с орденами и медалями, по поводу которых внучка порой спрашивала бабуку:

— А где наш деда воевал?

— На невидимом фронте, — загадочно сообщала бабушка, — он в тылу вражеских шпионов ловил, знаешь, сколько их было во время войны!.. Без таких, как дедуля, мы бы войну не выиграли!

Надев костюм, шляпу и взяв палочку, Богомоллов вышел из квартиры впервые за два года.

На дворе приветливо светило майское солнце и раздавались ритмичные пушечные залпы: сосед Богомоллова Гайнутдинов бил громадный роскошный ковер — восточный ковер-самолет, который никак не хотел лететь, подвешенный на круглой железной балке, бил во всю евразийскую ширь своих плеч. Выстрелы вдруг прекратились, Гайнутдинов увидел Богомоллова и застыл с выпученными бараньими глазами и приоткрытым ртом: он-то думал, что соседа по лестничной клетке снесли на кладбище еще прошлой осенью.

Богомоллов двигался через пространство двора упорно, непреклонно, непримиримо, как раненый солдат, опирающийся на карабин, оставляя палкой в сухом песчаном грунте цепь неглубоких ямочек, а в окошко с удивлением наблюдали за движениями его шляпы Даша, невестка и жена. В одну из песчаных ямочек провалился паучок и одурело в ней закружился: наверное, она ему казалась огромным карьером, но о паучке этом не знал никто, разумеется, кроме автора, не считающего, что любое ружье упомянутое в начале рассказа обязано выстрелить. Паучок все же благополучно выкарабкался из ямочки и побежал по своим делам, а Богомоллов продолжал пробиваться сквозь аполитичную легкомысленность майского дня с беспамятно невинным голубеньким небом, веселыми детскими криками, чирикающими воробьями. Он-то думал, что все они виновны, пусть сами того и не ведают, все они в чем-то виновны перед ним — и дети, и небо, и воробьи, и даже веревка меж столбов и сохнувшее на ней белье...

виновна вся жизнь перед ним в чем-то большом, главном, что он не мог бы выразить никакими словами (впрочем, это и не имело большого значения), и обидно было то, что все они, все это, прекрасно обходится без него, главного свидетеля и судьи! Но, ничего, он еще им покажет!

В автобусе тесно и душно, но молодой юноша с пушком над пухлой губой сразу поднялся при виде его палочки и орденов, освобождая место. Прямо перед ним всю дорогу, привалившись к его коленям из-за тесноты, стояла толстая распаренная тетка, время от времени тяжело вздыхая и перекладывая огромную авоську с грязной картошкой и кочаном капусты из одной руки в другую.

Молодой с интересом разглядывал его медали — пусть, пусть мальчишечка глядит на блестящее. На золотой профиль Сталина, он и не знает, что перед ним сидит обладатель великой государственной тайны, тайны неведомой никому в этом душегубном автобусе — ни этому лопоухому, ни тетке с картошкой, которая вот-вот испачкает его брюки... тайны, о которой он никому никогда не поведаст, о которой никто никогда не узнает и не расскажет другим, о которой не знали всего даже домашние (как делать куклы!)... К примеру, этот пригородный, так буйно цветущий парк с детскими качелями и каруселями, мимо которого они сейчас едут, где так любят гулять горожане, отплясывать на танцплощадке летку-енку молодые, и этот райончик Дутово с частными домиками и садами, где так хорошо растут цветы и самые вкусные в городе яблоки, все это — на месте закрытого для «спецмероприятий» полигона и огромного карьера... И этот стадион Новотрубинска, мимо которого они едут тоже... на месте кладбища... Конечно, время от времени появляются какие-то слухи (народ распустили!), но до фамилий, до имен дело никогда не дойдет. Никогда! Бегай по стадиону, прыгай, набирайся здоровья, лопоухий, танцуй с девчонками, залезай под юбку в укромных местечках парка, кушай дутовские яблочки — теперь мы с тобой повязаны!

Наконец он кое-как вылез у краснокирпичного двухэтажного здания с вывеской над подъездом: «Районное отделение милиции № 2».

Младший лейтенант Коростылев сидел под портретом Ленина за письменным столом с неинтересными бумагами, со светлорусой копной на голове, вилами воткнув в нее пять пальцев, и скучал по майскому законному дню, от нечего делать раскусывал кроссворд в газете «Известия», как раз остановившись на слове: советский космонавт из шести букв. «Волков... Леонов... — перебирал Коростылев, — во развелось!»

...когда дверь в кабинет открылась, и в помещение, упираясь палкой в пол, вошел дед в шляпе и направился прямо к столу. Вид медалей всегда напоминал Коростылеву о прошедшем до самого Берлина отце, Коростылев привстал и пригласил старика сесть напротив. Отдышавшись, Богомолов поднял лицо. Ленин щурился со стены, чему-то усмехался, будто думая: «Ну и дураки же вы все!»

— Хочу сделать заявление! — твердо сказал Богомолов.

— Кто обидел, папаша? — участливо поинтересовался Коростылев.

И тут, Богомолов, опираясь пальцами о стол, привстал, весь как-то вывернувшись, и выкрикнул:

— Меня обокрали!

Он мелко затрясся, плача без слез, и Коростылев живо поспешил к нему, ласково усадил своими большими и мягкими, но удачно дающими в зубы хулиганам, лапами.

— Успокойся, папаша! Разберемся... это кто ж посмел фронтовика!..

— Внучка! Собственная внучка! — рыдал Богомолов, а Коростылев наливал в стакан воды и подавал.

— Э-э, да тут, знат, дело семейное, — разочарованно протянул он, — может, и не стоит сразу с заявлением-то?.. — Коростылев страшно не любил и боялся путаных и противоречивых семейных дел, хотя ему вдруг и стало жалко деда... Другое дело, убийство... тут все сразу ясно! Кто, кого, чем... С другого конца — в прошлом году баба ходила, жаловалась, жаловалась — мол муж каждую получку избивает, а когда он предлагал подать заявление — в отказ. А перед Новым Годом, в аккурат, спящего топором зарубила.

— Всю жизнь, всю жизнь на них работал, чтобы как люди жили... Я бы и так все отдал! Смерти моей ждут! — вопиял Богомолов.

— Да что случилось-то? Что?..

Сухие пальцы крепко впились в рукав его кителя.

— Вы советский человек?!. — глаза смотрели упорно, требовательно, мелкокалиберные зрачки застыли, будто поймав цель на мушку.

— Советский, папаша, советский, кто еще? Несоветские — они за бугром! — махнул куда-то свободной рукой Коростылев, однако попытавшись освободить рукав.

— Член партии?..

— Пока кандидат... — несколько смутился Коростылев, — но душой...

— Значит наш, на-аш... — хватка несколько ослабла, и Коростылев освободил рукав.

— Наш, наш! — посерьезнел Коростылев.

— Дела не надо заводить, заявления не надо, попугать бы только. Чтоб отдали. Я ее ведь, сучку, все ж люблю! — ударил кулаком по казенному ребру стола старик.

— Да в чем дело, папаша!

— Сберкнижку украли! В ней вся жизнь моя! Все труды!.. — и старик, отпустив рукав, залился уже настоящими слезами.

— Э-э, — Коростылев сел и откинулся в испуганно взвизгнувшем старыми пружинами кресле. — Так, может, и кражи-то никакой не было, может быть, вы ее сами, папаша, куда-нибудь того и забыли?.. Да и с какой-такой стати сберкнижку красть — без паспорта-то деньги не выдают!

-И ни-ни! — погрозил пальцем Богомолов. — Я всегда точно знаю, где она положена! Я скорее где моя задница забуду! Нет ее там! А кто мог взять? Все она, дура Дашка!

З

— А может, ты ее в Ленина спрятал? — спросила Дашка.

Уже в десятый раз Богомолов с окаменевшим, почти страшным лицом, перебирал содержимое письменного стола: партбилет (прежде всего!), паспорт, наградные книжки, многочисленные характеристики от парторганизаций, в которых приходилось состоять с неизбежными фразами (будто все эти характеристики писаны одним человеком, несмотря на различную географию мест их происхождения — от Атлантики до Тихого океана): «морально устойчив», «постоянно повышает свой идейно-политический уровень»... — все на месте! Кроме одного, главного...

Дарья Петровна и невестка Люба уже в который раз пересматривали одежду и белье в секции в ореховой румынской стенке с золочеными ручками, перетряхивали простыни, пододеяльники, наволочки, платья, халаты, майки, трусы, шарили в карманах курток, пальто, плащей и дубленок. Удивительно, как много в доме мест, могущих быть потенциальными тайниками! Дашка даже облазила весь пол, приподнимая ковры, заглядывала за новый, недавно купленный цветной телевизор «Электрон» вместо исправно прослужившего 15 лет черно-белого «Рекорда»... — Ничего!

Кажется, неохваченная поиском оставалась лишь единственная в доме книжная полка с полным собранием сочинений Владимира Ильича Ленина — подарок Богомолу от парткома к пятидесятилетию. С тех пор тома стояли почти нетронутые, почти новенькие, один к одному, поблескивая сквозь стекло прямыми золотыми буквами, разве чуть потускневшие за четверть века. И вот впервые за все это время этих переплетов коснулась девичья рука. Даша начала с первого тома, почувствовав почти древесную прочность и выскальзывающую гладкость обложки вместе с какой-то вызывающей в спине неприятные мурашки мелкой рубчатостью. Она перелистывала том за томом, раскрасневшись, вспотев, поминутно сдувая падающую на глаза прядь. Время от времени ей попадались заглавия, то будто понятные, то совсем непонятные, от сложности которых кружилась голова: «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Как нам реорганизовать рабкрин?», «Империализм и империокритицизм» (второе слово она даже не пыталась дочитать). «Письма издалека»... Даша вдруг замечталась, приоткрыв рот, ей представился молодой солдат, который пишет ей письмо с дальней заставы: думаю, мол, о тебе, люблю, скучаю... И она отвечает: жду, мол, верна, мол... Она перелистывала страницы дальше, чувствуя, как все более тяжелеет голова от немыслимой бездны, отделяющей ее от этих томов. Разве только Бог и смог бы исписать столько страниц! Но Бога нет, это она усвоила намертво, со школы, с детского садика, с ясель, от тех, кто ее кормил, растил, воспитывал, а величие Ленина она ощущала тем более, чем он ей казался менее и менее понятным. Правильно, Бога нет, но был Ленин, равного которому среди людей никогда не было и не будет! И в кумачевом тумане, затопившем голову, явились строки, выложенные красным кирпичом на карнизе школы: » Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»

На миг она отключилась, засмотревшись в бессовестно голубенькое окно.

«Был бы жив Ленин, — подумалось ей, — был бы уже коммунизм!» И ей представилось: идет она в магазин «Одежда» и выбирает самое красивое платье, и просто берет его, ничего не заплатив! Или — в магазин «Обувь», а там туфельки новые, югославские! И берет, опять ничего не заплатив!.. Или в магазин «Продукты», а там колбаса лежит, любая — хоть докторская, хоть краковская — бери сколько хочешь!.. Бесплатно!!

Когда она дошла до тридцать седьмого тома, ей неожиданно страшно захотелось есть.

— Мама, у нас колбаска еще осталась? — закричала, вскочив.

И в этот момент прозвучал звонок в дверь.

— Даша, открой! — закричала Дарья Петровна, но Даша уже сама неслась к двери со всей горячностью рвущейся ко всякому изменению молодости.

На пороге стоял высокий милиционер, строго поблескивая золотыми государственными гербами пуговиц кителя и кокардой на фуражке.

— Квартира Богомоловых? — осведомился милиционер, широко улыбнувшись возникшей перед ним девице и прикоснулся ладонью к лаковому козырьку. — Старший лейтенант Коростылев!

— Мама, мама! — закричала пораженная непонятной новизной Даша.
— А к нам милиция!..

Дарья Петровна и невестка Люба поначалу не на шутку струхнули, увидев милиционера, растревожились — Егора спекуляции в гаражах запчастями раскрылись или об их делах с сосисками, выносимыми из общественной столовой, кто-то донес, или еще чего?!

— А чо случилось-то, чо? — спросила, обмерев Дарья Петровна, усиленно вытирая о фартук руки и пытаясь улыбаться.

Однако Коростылев улыбался добродушно, неопасно.

— Хозяин дома? — вновь козырнул он и представился.

— Дома, дома, да вы заходите... — засуетилась Дарья Петровна, — да что там за случилось-то?..

— Ну, мы обязаны реагировать, в случае населения... особенно коли ветеранов имеется... Пропажа у вас?..

— Ах, вот оно что! — всплеснула руками Дарья Петровна полуоблегченно. — Да сберкнижка у деда нашего пропала! — и, понизив голос, скороговоркой сообщила: — Совсем выжил из ума дед, сам куда-то засунул, а теперь ищи! — и переходя на обычный голос:

— Да вы заходите, заходите, гостем будете! Мы тут как раз чайку собирались!.. Даша, чайник поставь гостю!..

Коростылев колебался совсем недолго: в конце концов он не при исполнении, рабочий день закончился, а во внеслужебное время он может заниматься чем ему вольно, хоть голубей гонять. Кроме того, удобный случай и в деле разобраться не спеша. Вроде как коммунистический субботник у него сегодня. Индивидуальный. На самом деле он и сам не признавал, что решающим было не это: решающим были круглые дашины коленки, которые он увидел с порога и от которых китель вдруг показался чрезвычайно тесным и жарким.

Через пару минут он уже сидел на кухне без фуражки, расстегнув китель (снимать его счел пока преждевременным, хотя спина горела, будто к ней приложили утюг), а вокруг него кружили женщины: Дарья Петровна наливала чай, невестка Люба метала из холодильника снедь. Старик Богомолов копался среди газет в кладовке и время от времени слышался его сердитый чих.

— Может, покушаете, с работы, поди, оголодали? — приговаривала Дарья Петровна.

— Не-е... — смущенно тянул Коростылев, — сытый я.

— Люба, холодца достань! — командовала Дарья Петровна, нарезая хлеб. — А ты, Дашка, ищи, ищи, должна быть!

— Может, коржиков? — протягивала невестка вазочку Коростылеву.

— Да не-е... — тянул Коростылев, однако взяв посыпанный молотым орехом, с дыркой посреди коржик.

— А может, колбаски докторской, с работы, поди, устали-то?.. Ешьте, ешьте, у нас Люба в заводском профилактории официанткой, без колбаски не сидим!

— Да вы что такое говорите, маменька! Выходит, я у родного государства ворую!? — побагровела вмиг Люба.

— Ну я и говорю, — испуганно закивала Дарья Петровна, — в таком месте работает, а хоть бы раз, хоть бы кусочек взяла! А ведь сколько пропадает после отдыхающих!

— А не мог бы кто-нибудь из посторонних?.. — задумчиво изрек Коростылев, глотнув чаю.

— Посторонние?! — оживилась Дарья Петровна. — А ведь и вправду вчера соседка заходила, Семеновна, луковицу занять для борща!

— глазки Дарьи Петровны среди сеточек морщин неожиданно азартно заблестели. — ... Да, она какая-то странная была, все по сторонам шмыгала: вот, ковер, говорит, у вас новый, стенка румынская, телевизор цветной... она всегда как зайдет и говорит, говорит, и все примечает: то у вас новое, это, вы, говорит, богатые... А какие мы богатые? Какие?..

— глаза Дарьи Петровны округлились, голос понизился до таинственности: — ...А может, пока я на кухню ходила, она и того?.. Точно! — всплеснула руками Дарья Петровна. — А потом, как только луковику я ей дала, сразу так заторопилась, заторопилась!..

— Маменька, так ведь по книжке никто другой денег не получит!

— возразила угрюмо невестка.

— Все равно! — махнула рукой Дарья Петровна. — А из зависти, из вредности, надо еще посмотреть золотые кольца в шкатулочке, на месте ли!..

— Вот! — раздался торжествующий Дашин крик из комнат. — Нашла!..

Женщины кинулись в комнату, за ними несуетливо, как и подобает представителю власти, двинулся Коростылев, не без сожаления оставив надкушенный коржик.

В руках у Даши была серо-голубая книжечка.

— За дедулиным диваном, за подкладкой: дедуля в щелочку, видно, сунул, а она за распоротую подкладку и провалилась!..

Дед Богомоллов сердито сопел и недоверчиво хмурился.

Коростылев важно взял в руки книжку с колосистым гербом Советского Союза и надписью СБЕРБАНК СССР, раскрыл и брови его удивленно дернулись вверх:

— Да тут на целую волжанку хватит! — усмехнулся, задумчиво возвращая книжку деду.

— Дедуля на севере работал, в тяжелых условиях! — поспешила Дарья Петровна.

— А, понятно, геологом?..

— Вроде того, геологов охранял... Да вы чаек-то допейте...

— Нет, спасибо, — вдруг посерьезнел Коростылев, — пожалуй, пора, — он направился в прихожую, надел фуражку и козырнул увязавшемуся за ним семейству.

— Спасибо вам, уж такая забота!.. — приговаривала Дарья Петровна.

— Даша, проводи товарища! Вы уж не обижайтесь, если что не так...

— Служба! — важно изрек Коростылев.

— Дедуля у нас странный, на воздухе совсем не бывает, — щебетала Даша, пока они спускались по лестнице, — а денежки мне все равно все достанутся, когда помрет. Я невеста богатая! — смеялась.

— Посидим? — предложил Коростылев, когда они вышли из подъезда. Они сели на лавочку, которая кстати оказалась неразломанной и незатоптанной молодежными копытами, как большинство у других подъездов. Чирикали и кричали воробьи, склевывая рассыпанную на земле шелуху семечек, свисали, почти касаясь голов, шикарные гроздья сирени. Коростылев достал пачку «беломорканала» и, покосившись на дашины круглые коленки, закурил.

— Ой, а наш дедуля тоже только «беломор» курит!

— С фильтром не уважаю — слабеж, — задумчиво изрек Коростылев, будто созерцая панно на слепой стене торца ближайшего дома: три фигуры — могучая мужская, женская и мужская похилее, вытянув вверх левые руки, поддерживали космический корабль, в правых руках у каждой фигуры было свое: у женщины — серп, у могучей мужской — кувалда, у той, что похилее — книга... А прямо над спутником выложено камушками: «НАША ЦЕЛЬ — КОММУНИЗМ!»

— Вы это, с дедом-то, поаккуратней, все-таки фронтовик!..

— Жмот он! — Даша вытащила откуда-то конфету, развернула ее и засунула за щеку, ловко бросив фантик под лавку. — Все ему жалко, а у меня молодость одна!

Тут они неожиданно, сами не зная чему, рассмеялись.

Даше было приятно, что рядом с ней сидит такой взрослый, в форме, с блестящими пуговицами человек и курит — возможно, в будущем большой начальник.

— А в милиции генералы бывают?

— Бывают...

— Понятно, — кивнула Даша. — А вы в парк на танцы ходите?

— Иногда... дежурить... — вздохнул Коростылев. — Там драки завсегда. Прошное воскресенье одного порезали...

— Два раза из-за меня дрались! — лихо соврала Даша и небрежно пожала плечами: — Дураки!

Они посидели еще немного, поговорили ни о чем.

— Заходите в гости, — сказала Даша на прощанье, — у нас сад еще есть, в Дутово, там такие яблочки к осени — с человечью голову!..

Прошлого никогда не существовало, существовало лишь настоящее с теплым голубым небом, сиренью, чирикающими воробьями... и будущее, в котором всегда рядом теплое женское тело, краснобокие дутовские яблочки и послушно мчащая вдоль никогда не кончающегося шоссе «волжанка», и необычно новое, волнующее чувство владельца, хозяина.

Коростылев подумал, выпустил дым:

— А не сходить ли нам в кино!..

По Проспекту Революции шагал молодой милиционер с букетом роз. Автобусы ходили редко и к тому же были всегда переполнены, и чтобы не помять цветы, Коростылев решил добираться до Богомоловых пешком.

В буйной непричесанной шевелюре городского парка светились кое-где желтые прядки, холодновато синело сентябрьское небо с неподвижным и крутым, как снежная вершина, облаком. Редкие прохожие и машины — как всегда в воскресенье.

И даже визг пожарной машины где-то за домами не нарушал общего благостного настроения.

И даже промчавшаяся скорая не вызвала у Коростылева никаких дурных предчувствий. Однако, когда он свернул налево, то увидел дым над знакомым кварталом и невольно ускорил шаги.

Перед знакомым подъездом темнела плотная толпа — красная пожарная машина, белая с красной полосой скорая — фигуры пожарников в касках, дым... дым из знакомых окон на третьем этаже!

Коростылев оглянулся, будто в поисках кого-то, и увидел молодого патлатого зеваку, стоящего позади всех зачарованно, с приоткрытым ртом, наблюдавшего за разворачиванием пожарного рукава. Коростылев решительно шагнул к нему.

— Эй!..

Зевака дернулся, будто проснувшись, и испуганно посмотрел на Коростылева.

— На, держи! — сунул ему в руки букет Коростылев, и зевака послушно тут же взял букет.

В следующий миг Коростылев уже прокладывал дорогу через толпу.

— Погорели! Погорели! — раскачиваясь, стонала Дарья Петровна, стиснув руки. — Сжег нас старый бес!

Лицо у Даши было мокрым от слез и некрасивым. Увидев Коростылева, она кинулась к нему в объятия и зарыдала.

— Да что случилось-то?

— Курил, и газеты загорелись! — всхлипывала Даша.

— Ну-ну, — поглаживая волосы, успокаивал Коростылев. — Все в порядке, а где Сам-то?

— Устроил пожар в кладовке! Там же газет старых полно! — сообщила Люба зло. — Сигарету забыл потушить, сколько раз говорили ему, сколько раз!

По лестнице вниз два пожарника тащили упирающегося Богомолова.

— Пустите, убью!.. Там сберкнижка!

— Какая сберкнижка, отец, скажи спасибо живой! — кричал ему в ухо молодой пожарник.

Однако Богомолов вдруг рванулся и с неожиданной прытью вбежал обратно в подъезд и помчался в дыму вверх по лестнице. Промчавшись мимо асбестовой спины начальника пожарного расчета, он рванул дверь. На него дохнуло жаром и гулом. Пламя, получившее доступ к воздуху, полыхнуло сильнее.

Внезапно Богомолов увидел, как огонь впереди расступился и перед ним возник Сам! Вождь! Хозяин!! Узкий покатый лоб, толстый нос с хищным разрезом ноздрей, густые усы, трубка в зубах... простой френч с высоким воротником. Хозяин держал что-то в руке и внимательно рассматривал... Да, это его сберкнижка! — Старик затрясся, словно в лихорадке (чьи-то руки держали сзади, а сберкнижка в руке вождя растворилась) — вождь повернулся к нему, хитро сощурился, улыбаясь, и поманил толстым коротким пальцем...

Невероятно, какая сила проснулась в тщедушном теле. Повинуясь приказу, Богомолов изогнулся, напрягся, вырвался из держащих его рук и, дико закричав, бросился в пламя...

Черепки

Помню жаркий летний день. Мне лет 13, и я брожу по территории пионерлагеря «Кузнечики» и скучаю. Почему-то я один, видимо, другие ребята на волейбольной или футбольной площадке, но командные игры я не любил: только те, в которых человек сам за себя, борьбу, к примеру, плавание... Но тренера по борьбе в лагере нет, речка неподалеку мелкая по пояс, да и то нас туда не водят.

Жарко припекает солнце, пахнет травой и сухими сосновыми иглами. Я брожу рядом со столовой и пищеблоком. Почему-то тем летом мама не повезла меня на море. Теперь я думаю, это случилось вследствие дорогих семейных трат — на телевизор «Рекорд» и на холодильник «Смоленск».

Рядом с тропинкой к столовой — большой матерчатый портрет Никиты Хрущева во весь рост, натянутый на деревянную раму: лысый брюхатый дядька в украинской рубашке и в серых брюках, и радио орет на весь

лагерь что-то фальшиво-оптимистическое, отчего на душе становится еще более пусто и тоскливо. «Ох, — думаю я, — пусть меня родители заберут раньше смены!» Друзьями в лагере я не обзавелся, книжек интересных не было... И запреты, запреты, а главный: не выходить за территорию лагеря. А хочется, но я пионер — всем пример, «сознательный», понимаю, что если мы не будем уважать правила, то не построим коммунизм!

Рядом со столовой прямоугольная железная емкость, заполненная дождевой водой. Я склоняю лицо к воде и вижу, как по ее поверхности туда и сюда бегают легкие паучки с множеством тонюсеньких ножек, под которыми вода лишь слегка прогибается — водомерки...

А что еще интересного? — да черепки от древних кувшинов, которыми завалены подоконники в Красной комнате... Но сейчас она закрыта. Да, рядом с лагерем через ручей на плоском холме — археологические раскопки, откуда все эти черепки. Но туда ходить тоже нельзя, а тем более самим копать, чтобы не повредить что-нибудь важное, не растащить... Копать там можно только археологам, но там мы были: раскопки представляли собой одинаковые черные квадраты, разделенные узкими полосками травы. И в красной комнате я был, щупал эти черепки с нехитрыми геометрическими узорами.

Тогда и много позже в музеях меня не оставляло недоумение, почему этим черепкам археологи придают столь важное значение. Ну разбилась в доме тарелка и что? Купили в соседнем магазине другую, ну а с появлением пластиковой одноразовой посуды и такая проблемка почти на ноль сведена стала. Но ведь помимо тарелок и сервизов у нас в квартире еще много что было — и ковры, и пианино, шкаф, стол, кровати, стулья и, конечно, книги, много книг, заполнивших этажерку и отдельный емкий книжный шкаф из дуба... А тут по одним черепкам культура определяется! Как-то не задумывался, что могла значить керамика для древнего человека.

А значила для его выживания многое. Голод был главной угрозой выживания человека. И готовка пищи, ее сохранение были главнейшими проблемами после умения добывать огонь, охотиться, ведь далеко не всякая охота могла быть удачной, не каждый год давал урожай... А кувшины позволяли не только готовить пищу, но и делать человека менее зависимым от природы и стихии обстоятельств, сохранять ее, делать запасы: зерновых культур, лесных орехов, вяленого мяса и рыбы, переносить запасы с одного места на другое, прятать в случае нашествия врагов... Изобретение кувшина после открытия и приспособления огня можно смело назвать революционным, подобным открытию колеса. И сколько умения и наблюдательности надо было

проявить, чтобы создать кувшин: подобрать нужную глину, найти режим обжига... И уже тогда про красоту не забывали: те примитивные узоры служили не только тому, чтобы различать кувшины. Польза и примитивное чувство эстетики сливались воедино. Кувшин в обиходе первобытного человека являлся целым состоянием, ценящимся не дешевле шкур животных, спасавших зимой от холода. И каждый кувшин был уникален.

Но вот хитроумные греки создали новую технологию гончарного круга, позволившую поставить производство кувшинов на поток. Это было равносильно выходу человека в космос — резко стимулировало торговлю, дальние плавания: целые корабли заполнялись кувшинами с зерном, вином и прочими дарами земли. И плыли они, соединяя Рим, Сиракузы, Египет, Таврию в единую средиземноморскую цивилизацию.

Но вернусь к моим «Кузнечикам». Вот, что о них написано в интернете: «Дьяковское поселение на городище Кузнечики возникло не позднее второй четверти I тысячелетия до нашей эры, существовало в первой половине I тысячелетия нашей эры и, вероятно, в его третьей четверти».

Я вспоминаю того мальчишку в пионерлагере, с удивлением щупающего древние черепки, и не нахожу с ним ничего общего, ведь прошло более полувека, и если бы нам удалось случайно встретиться на улице, мы не узнали бы друг друга. То было время лепки, когда форма и суть изменяются каждую минуту, и до обжига было еще далеко.

На карантине

Я смотрю в окно. Неохотно движется весна, может, потому что слишком ранняя. Пасмурно, но время от времени невесть откуда из-за пелены вспыхивает свет, преображая грустную картину в радость. Ветви деревьев усыпаны почками и дождевыми каплями. Деревья тянутся в рост каменных домов, редкие прохожие, сутулящиеся, в капюшонах... Телефон молчит. Книги перечитаны... Сегодня собеседников не предвидится.

Но не грусти! Чем более растет твое одиночество, тем более ты остаешься один на один с Богом.

У судьбы бесчисленное множество приемчиков обрушить жизнь человеческую, будь ты богат или беден, здоров или хил... На всех хватит неизлечимых болезней, тупиковых жизненных ситуаций, передраг, предательств, ошибок! Но Бог наблюдает, как ты ответишь — унынием или самопреобразованием! Сможешь ли ты отойти от себя, возвыситься над собою и приблизиться к Нему.

Главное, чтобы ясной оставалась голова. Наверное, можно смотреть в окно бесконечно и без скуки, если сможешь войти в молитвенное расположение души, которое, думаю, и без слов возможно. Это состояние сердечности, осознание, что каждый миг неповторим, как облачко, меняющее постоянно очертание, но никогда не копирующее себя. Твое движение вместе со вселенной продолжается! Продолжается удивление непостижимостью мира, бесконечностью! В молитве нет ни прошлого, ни будущего — вечное настоящее, вечное удивление!

Наверное, это можно сравнить с состоянием катарсиса, которое мы от искусства получаем: приведение в гармонию внутренней неразберихи, хаоса, которую мы ощущаем, рассматривая прекрасное художественное полотно, читая мудрую книгу, плавая в море с маской среди кораллов... Подлинное искусство борется с энтропией, устраняет хаос, который постоянно норовят привнести в нас демонические сущности, только и ждущие момента слабости твоей или твоих близких, людей, от которых ты зависишь. Когда демоническое и хаотическое начинает заполнять душу и пространство вокруг тебя, терзая скукой, вот на такой случай нужна молитва словесная — она, как стержень, не дающий душе распадаться, точка кристаллизации. Есть молитвы готовые, можно придумать свою молитву, добиться того, чтобы она удерживала состояние цельности души, только тогда она становится действенной, а не просто ритуалом. Не всегда и не всем это удастся, но надо пытаться!

Капитан Клятов

Прощай любимый город!

Уходим завтра в море.

И ранней порой

Мелькнет за кормой

Знакомый платок голубой.

А. Чуркин

1

Будь прокляты, эти немцы! Будь прокляты, эти немцы!.. Ничего, ничего, Павлик, не бойся — видишь, какие наши матросы большие, сильные! Это наши матросы, краснофлотцы, самые смелые, самые сильные!..

Дрожишь? Холодно? Давай я тебя в свою кофточку... вот так. Ну и что ж, что места внизу нет: внизу много народу, внизу жарко и дышать нечем, пахнет, пахнет плохо, Павлик, а здесь на палубе свежий воздух, ветер,

солнце... смотри, как красиво: небо голубое, облака... море какое зеленое, как стекло, а на волнах белые барашки... Тошнит? — Это ничего, это оттого, что немного качает, это ничего: привыкнешь, пройдет, и станешь у меня настоящим моряком, морским волком, да?.. Не станешь? Ну, тогда доктором, обязательно доктором.

Отойти от установки? Да куда же мы? — Ладно, постараемся, в тесноте да не в обиде, и теплее будет... Жарко будет? Шутите, товарищ раненый, здесь же дети! Это самолет? Это чей самолет? Наш, наш, конечно, наши соколы... Господи, помоги, зачем он так воет?..

«Не вижу! — орал наводчик зенитки с перевязанной буро-серой тряпкой головой. — От солнца, гад, заходит!»

Матери закрывали собою детей, раненые невольно втягивали головы в плечи, съеживались, будто желая уменьшиться до размера насекомого, вжаться в палубу, забиться в щели...

Равномерно застучала зенитка, выбрасывая на палубу дымящиеся гильзы.

— Га-ады! Га-ады! — стонала толпа беженцев и раненых на палубе, а из трюма, где ничего не видели и не ведали, поднимался утробный вой и стон слепого ужаса.

Открыли огонь и зенитки на бортах, лениво бухнул из орудий идущий поодаль крейсер «Киров» по неведомой цели.

— Дети же здесь! — визжала обезумевшая женщина, встав во весь рост и потрясая кулачками, но ее жалкий вопль и крики других перестали быть слышными в нарастающем пронзительном вое пикирующего на судно бомбардировщика. На серых крыльях мелькнули черные крестики, а за бортом взвился столб воды, от ударной волны судно резко дернулось и с пораженной осколками надстройки что-то посыпалось и зазвенело.

— Доктора! Доктора!.. Кровь остановите... Да рвите же вы ваше платье... Черт бы подрал их... Уходит, уже уходит, да не плачь, не реви!..

— Мама, мама, смотри, а это МИНА?..

— Где, какая еще МИНА?

— ТАМ... ТАМ!.. МИНА!.. МИНА!!!

Меж зеленых волн покачивался черный рогатый шар со шматком желто-зеленых водорослей, игриво накрученных на один из рогов, будто башка подвыпившего морского черта, вышедшего прогуляться по илистому дну.

— МИНА! — МИНА ПО КУРСУ, ПРАВО НА БОРТ, СТОП МАШИНА!..

Но инерция слишком велика, медленно, но неуклонно сокращается пространство воды меж миной и зеленой ватерлинией, черт делает еще один шаг, и к небесам взрывается вихрь воды и обломков. Вздогнула палуба, все больше стала крениться к носу, кто стоял — попадал, ринулась, забирая пространство, зеленая вода, катятся серые комки в мелкие волны. Кричат все, каждый о своем и каждый об одном...

2

Адмирал Трибуц не отнимал от глаз бинокля, наблюдая, как впереди идущий транспорт «Эдда», гудя сиреной, стремительно погружался носом в море — погибал, потому что при нем не было ни одного минного тральщика. Под скулами его ходили желваки, обычно живое лицо онемело от бессонницы и ничего не выражало. Семь минных тральщиков терлись рядом с гордым «Кировым», красой балтийского флота, на котором находился он, семь минных тральщиков должны были охранить «Киров» от любой случайности, да еще параван-охранитель — стальная полуподводная рама вокруг носа и передней части корпуса крейсера, предохраняющая от нежелательных непосредственных столкновений с рогатыми чудовищами.

Надо было думать об эскадре, прежде всего об эскадре!

— Самый малый вперед, — приказал Трибуц.

Гремели бортовые орудия и зенитки при очередных заходах юнкерсов, то и дело внезапно обрушивающихся из клочкастых серых балтийских облаков на растянувшиеся в десятки километров, часто сбившиеся с курса и бредущие по минным полям, как овцы, потерявшие пастуха, суда конвоев. Но эскадра держалась, почти не нарушая строй, чуть в стороне от десятков и сотен грузовых транспортов (их никто так и не сосчитал), забитых беженцами, ранеными, солдатами гарнизона, успевшими покинуть Таллин, — главную базу Краснознаменного Балтийского Флота до вчерашнего дня. Все эти караваны были оснащены лишь минимальным прикрытием катеров морских охотников (МО), эсминцев и тральщиков, в большинстве своем уже отправившимися на дно.

— Позор! — вдруг услышал Трибуц под своим ухом. — Позор!

Он резко оглянулся: это был капитан третьего ранга Клятов, хороший моряк, как он слышал от Сухорукова, капитана «Кирова».

Клятов тоже смотрел на тонущее судно остекленевшими глазами.

— Мы не защищаем женщин и детей, а защищаем себя... Мы, военные моряки!

— Что?!. Что вы себе позволяете говорить? — взорвался Трибуц (бессонные ночи и усталость дали себя знать). — Да вы понимаете, что вы несете? Да как вы смеете порочить честь Краснознаменного Балтийского Флота! За это и ответить можно по всей строгости, предупреждаю!

Он немного перевел дух.

— Мы ни за кого не прячемся, капитан, и если есть возможность — всегда поможем! Но есть приказы, инструкции, которые не обсуждаются! Людей ему жалко... А вы подумали о кораблях, которые мы должны довести в Ленинград? Вы подумали, что они там нужны для обороны, их мощные орудия, зенитки? Сколько мы людей там должны спасти?..

Клятов молчал, насупившись:

— Мы не сделали даже попытки...

— Молчать! Возьмите себя в руки, товарищ капитан третьего ранга! Нервы у вас просто расшатались, нервы! А пока марш в кубрик и чтобы я вашей кислой физиономии до конца перехода не видел!

— Есть! — козырнул Клятов и загрохотал по трапу мостика вниз.

С левого крыла мостика подошел капитан «Кирова» Сухоруков.

— Нервные у вас подчиненные, — проворчал Трибуц, — прямо дамочки какие-то из драмкружка!

Сухоруков тактично промолчал, мудро решив, что происшедшее на мостике до него не имеет прямого отношения к оперативно-тактической обстановке.

Трибуц вновь поднял бинокль, обозревая акваторию. На месте, где находилась «Эдда», плавали лишь какие-то обломки и мелькали среди волн черные точки — головы людей. Одиноким Морской Охотник, проходящий невдалеке, резко изменив курс, бесстрашно, невзирая на минную опасность, бросился спасать тех, кого еще можно было спасти.

Трибуц отнюдь не был человеком жестоким, скорее наоборот, но жалость свою он научился скрывать и подавлять, иначе в данных обстоятельствах она бы могла помешать действовать. А сейчас надо было превратиться в машину! Кроме того, жалость — это чувство к индивидуальному — человеку, животному, а душа человеческая не в силах вместить сочувствия к слишком большим числам. Но он вовсе не смотрел равнодушно на появляющиеся и исчезающие в волнах черные точки, имя этому чувству было другое — досадливая горечь.

Но инцидент с Клятовым не выходил из головы.

Дон Кихот! Легко ему рассуждать. Да что он вообще понимает и знает? Знает ли он, что ему, Трибуцу не раз намекали сверху, чтобы вообще оставить весь гарнизон, беженцев, а уводить только военный флот?! И вот за это, за то, что он взял, сколько мог, солдат и беженцев, что он считает, может быть, своей главной заслугой, его никто не похвалит — ни командование, ни люди, перенесшие ужасы перехода...

И за спешку с эвакуацией будут ругать, что оставил на пристани пять тысяч солдат на милость немцев. А что он мог сделать? Если по разумному, эвакуацию можно было бы постепенно начинать, за две недели и забрать все до последнего гвоздя, но попробовал бы он сам только пикнуть об отходе из Таллина, его бы сразу расстреляли, обвинив в трусости и паникерстве, — так было уже с несколькими генералами. Вот и пришлось ждать, пока не пришел приказ сверху от Ворошилова, когда уже и этой деревянной башке стало очевидно, что Таллин не удержать, вот и пришлось то, что можно было сделать основательно за две недели, сделать всего лишь за два дня!

Но дальше всего он отгонял от себя мысль самую вредную и каверзную. О том, что «Киров» он так бережет, избегая всяких мнимых и действительных опасностей, не столько ради заботы о флоте, но из страха за себя — ведь это любимое детище вождя, за которое он отвечает головой.

3

Перед тем как уйти в кубрик, Клятов оглянулся: тут и там над морем и из-за горизонта косо вытягивались дымы горящих судов. Сплюнув, он затопал тяжелыми флотскими ботинками по узкому трапу вниз.

В кубрике, несмотря на свет иллюминаторов, было сумрачно. Поодаль, прямо на шинели полулежал матрос в тельняшке с перебинтованными глазами и поминутно повторял: «Доктор, доктор, я видеть буду?» «Буде, буде», — успокаивал его сидящий рядом другой матрос с перевязанной рукой. Тут находился и Дубровский, корреспондент флотской газеты, воспевающей подвиги краснофлотцев. Вид у него был совсем не героический: рыжие волосы растрепались оттого, что он часто нервно чесал голову. Перед ним на столе лежала записная книжка, в которую он с начала перехода еще не внес ни строки, и авторучка с золотым пером — подарок жены в день свадьбы.

— Как там? — с надеждой спросил он, заведя Клятова.

— Можете записать: потопили десять немецких подлодок, — усмехнулся Клятов. — Вы бы сами вышли, глянули.

— Не могу, — обхватил голову Дубровский, — вы не думайте, я не из страха, вернее я боюсь, но не оттого... — принялся он торопливо объяснять. — Там мои, понимаете, мои на «Виронии», жена с сыном... — он громко сглотнул. — Верите ли, мне кажется, что я чем-то притягиваю на них мины и бомбы, моя тревога притягивает. Вы верите в приметы?

— Нет.

— Я тоже не верил...

Клятов вытащил армейскую флягу, сходил за стаканами, поставил перед собой и Дубровским и плеснул в каждый.

— Я не пью, — запротестовал Дубровский.

— Ну, так и не пейте, — равнодушно молвил Клятов, взяв граненый стакан. — Только что на моих глазах «Эдда» затонула, там друг мой, старпомом, Сашка Гордеев, мы с ним три дня назад в «Золотом льве» сидели, в Таллине... — он выпил спирт и занюхал суконным рукавом бушлата. — А сколько там было гражданских, женщин, детей, я видел, как они с пристани по трапу поднимались, с чемоданами, игрушками — куклами, лошадками всякими...

— Все? — ахнул Дубровский.

— Может, и не все, может, Сашка продержится и катер подберет...

Дубровский внезапно схватил стоящий перед ним стакан и одним махом выпил и задохнулся: покраснел, вытаращил светлые глаза, шумно продышался.

Клятов молча смотрел в иллюминатор, за которым плескалась мелкая чугунная волна, и по потолку кубрика шли и исчезали ячеистые блики, раненный затих, и ему вдруг показалось, что все они в кубрике утопленники, которым уже все равно ничем не поможешь.

— Еще неделю назад мы с женой и сыном гуляли у «Русалки», и казалось все так надежно, немцы не прорвутся, ведь никто не говорил об эвакуации!

— Слухи были! — поднял палец Клятов.

— Слухи да, но я же сознательный советский человек, я не должен им верить!

— Однако, оказалось правда, — усмехнулся капитан. — Или вы только правду пишете в своей газете?

— Оказалось — правда, — поник Дубровский, быстро и опасливо и как бы оценивающе взглянув на собеседника.

— Послушайте, вы же военный человек, — снова встрепенулся он, — вы же можете объяснить... Ну, понятно, почему мы северным фарватером не пошли — там финский берег, подлодки, торпедные катера, «Тирпиц» может объявиться, но почему мы не пошли южным, протраленным фарватером, а поперли по центральному, прямо на минные поля Юминды! — он в отчаянии ударил ребром ладони по столу.

— Говорят, береговая артиллерия у немцев... хотя какая сухопутная артиллерия сравнится с нашей флотской крупнокалиберной с крейсеров да эсминцев, да мы бы их в два счета подавили, держали же Таллин только на заградительном огне артиллерии целых три дня!

— Что же мне писать?

— А вы ничего и не пишите...

— Хорошо, можно не писать, но жертвы, жертвы!.. Знаете, мне иногда кажется — тут крупной диверсией пахнет...

Клятов расстегнул бушлат и откинулся на спинку стула.

— Врагов много, — устало произнес он. — Внутренних, — зевнул. — Они все путают... А ОН не может же быть всегда и везде... Враги, враги, куда ни кинь — враги, выходит мало их раскрывали...

— Да, наверное, вы правы, — но есть же конкретные люди или конкретная личность, наконец, которая в ответе за то, что здесь творится?

— Может и так...

— Трибуц!!! — выдохнул, глядя ему прямо в глаза, Дубровский.

— Нет, я сам присутствовал на вчерашнем совещании, где обсуждался южный фарватер, и адмирал Ралль на нем настаивал, а Трибуц сказал, что все уже решено выше, и видно, что он просто исполняет чей-то приказ, хотя ему это и не нравится. Надо, думаю, брать выше...

— Господи, сколько ни боремся с этими внутренними врагами, а их все не меньше и при такой мощной службе безопасности, почему?.. или...

— глаза Дубровского внезапно расширились от ужаса. — Или вы хотите сказать...

— Что я хочу сказать?

— БЕРИЯ?.. — тихо выдохнул Дубровский.

...

— Доктор, я видеть буду? — снова застонал раненый в углу, мотнув перевязанной головой.

— Та будэ, будэ, ще як будэ бачить, — успокаивал устало его товарищ.

4

Нехорошо сощурившись, сжав погасшую трубку, вождь пересчитывал донесение, пытаясь вникнуть между строк: эти сволочи, эти трусы и предатели сделают все, чтобы скрыть от него правду, свои грехи перед ним. Но даже после первого прочтения, составленного наверняка как можно более прилаженно и хитроумно, когда относительные удачи выгодно оттеняются, а неудачи затушеваны, становилось ясно, что это чудовищный разгром: более половины судов не дошло, хотя цифры потерь, наверняка, всеми правдами и неправдами были приуменьшены.

— А-а ...! — вырвалось из-под рыжих прокуренных усов вождя грузинское матерное, и в приступе злобы, которая побеждала все чаще проявляющуюся немочь, он еще крепче сжал трубку. — Трибуц, ах, Трибуц! Конвой, конвой погубил, негодяй! Расстрелять его!

Но что-то оставалось не до конца выясненным, и вождь снова разжег трубку, встал из-за длинного стола и принялся расхаживать по зеленой ковровой дорожке кабинета как обычно, когда надо было поразмыслить о чем-нибудь важном и принять окончательное решение.

Трибуц ему никогда не нравился, этот представитель новой скороспелой военной элиты, оказавшийся неожиданно для себя адмиралом в результате колоссальных должностных вакуумов, возникших после чудовищных репрессий. Здесь была скрытая и особенно досадная для вождя параллель: Трибуц — бывший фельдшер, лекпом, ставший по прихоти дуры-судьбы адмиралом одного из самых сильных в мире флотов, и он, бывший семинарист из Гори, ставший вождем самой громадной в мире страны. Но эту причину неприязни вождь не доводил до собственного сознания: вождям копать в себе некогда и ни к чему — не нравится — и все тут, а если не нравится почему-то кто, раздражает — убрать подальше, а лучше — расстрелять (причину Лаврентий всегда придумает), — ну а тут и придумывать ничего не надо!

Трибуц, Трибуц... Он подошел к наглухо зашторенному окну, вытянул было руку, чтобы отвести штору и взглянуть на кремлевские звезды, но вовремя ее отдернул: а что если снаружи кто-нибудь увидит шевеление занавески и догадается, что ОН здесь, а там в охране люди с винтовками стоят, снайперы на каждом углу — вдруг кому что в голову придет? Да и больные на голову бывают, а для остальных здоровыми кажутся. Он сам знает, не хуже этого старикашки Бехтерева, который его, ЕГО! объявил сумасшедшим!.. Разве нормальный может себе смерти

желать? Ну и кто из них сумасшедший? — Он сам доказал и спит в земле сырой.

Никому и никогда нельзя верить! Южный фарватер захотели они, где немцы в двух шагах, — им еще сдаться на харчи Гитлера захочется, а не воевать!.. И такую возможность он должен был предусмотреть! Ведь миллионы негодяев, трусов и предателей так и сделали! Где 48-я армия?.. И Клим, Клим его сразу понял, только про южный фарватер заговорили эти адмиралы — и Кузнецов, и Исаков... Клим хоть и дурак, но нюх у него, есть нюх...

— Хэр вам, а не южный фарватэр! — вслух объявил вождь, обращаясь к пустому длинному столу, за которым обычно он рассаживал генералов и адмиралов. — Трыбуц, Трыбуц! — Сталин приостановился, слегка отойдя от окна, потирая разболевшийся висок. — Странная фамилия, не еврей ли? Надо Лаврентию поручить, чтобы покопал поглубже...

Конвой погубил, корабли погубил, флот собирался затопить... Стоп... Он внезапно остановился, вспомнив с каким упорством вился вокруг него Кузнецов, выпрашивая ЕГО подпись под этой телеграммой: «Заминировать и подготовить к взрыву все корабли КБФ, суда торгового, пассажирского, рыболовного флотов на случай захвата противником Ленинграда». Обычно такие покорные адмиралы, дрожащие под его взглядом, адмиралы, которых после вызовов к нему откачивали доктора, здесь вдруг встали как один и уперлись: без Вашей личной подписи такое распоряжение отдавать не будем!.. И ему все-таки пришлось, пришлось поставить свою подпись... да, вспомнил — все-таки поставил!

Вождь вдруг усмехнулся: а адмирал Кузнецов голову беречь умеет и Трибуцу сберег...

Вождь подошел к столу и принялся перечитывать донесение, списки судов и кораблей, потопленных немцами и не дошедших до Кронштадта. Бровь его слегка дернулась: все-таки большая часть военного флота дошла, и крейсер «Киров», хоть и большие потери (а «Киров» Трибуц сберег таки!). Обратная ситуация была с конвоями и их охранением — крохи уцелели.... Ну, люди гибнут, гибнут и будут гибнуть, это дело обычное, на то они и люди, а вот эти чудесные механизмы, в которых нет ни тени измены и предательства: эти двигатели, шестеренки, маховики, турбины, винты, крупнокалиберные орудия, ... кто их сейчас заменит? А людей у нас еще много — больше, чем в любой стране Европы и Америки. Россия потом нарожает (аборт он предусмотрительно запретил)... И Лаврентий поможет! — усмехнулся вождь, ему понравилась его шутка, подняла настроение: кто сейчас скажет, как Бехтерев, что он мизантроп и параноик, если даже в таких условиях умеет шутить? — «Спи Бехтерев, спи спокойно: похороны

ми тебе сделали харещие». А люди — хворост, хворост горит — пастуху теплее и безопаснее в горах ночью, когда темнота со всех сторон с дивами, дэвами всякими... А когда костер притухает — лишь тревожнее.

Собственно, черт с ним, с несимпатичным Трибуцем, расстрелять всегда успеется... Он — Вождь и умеет ставить государственные интересы выше собственных! Он — Вождь и должен мыслить государственно! Мало побед у Красной Армии с начала войны, почти не было... Но в его еще власти кое-какие поражения, особенно неявные, не окончательные, превратить в победы. Дошел же все-таки военный флот и «Киров» с золотым запасом Эстонии. А чем не героический переход КБФ из Таллина в Ленинград!? Звучит совсем неплохо... Надо, наконец, поднимать боевой дух армии и народа...

Сталин взял трубку:

— Паскребищева мне!

Вошел Поскребышев: лысый и извилистый, как среднеазиатский варан.

— ...Товарищ Сталин?..

Вождь встретил его, сидя за столом, оторвав свои мутные очи от донесения, глянул на слугу:

— Отмэть себе. Адмирала Трибуца представить к награде — ордену Красного Знамени!

5

Клятов шел немного впереди конвоиров и слышал, как шумят сосны, в последний раз в жизни. А может, это и море: оно так же шумит, оно близко — мелькнуло, махнуло меж стволов голубеньким платочком. Нет, Трибуц по прибытии в Кронштадт даже и не вспомнил о нем, не злопамятный был адмирал, но был в тот момент на мостике, где они повздорили, некто Третий, почти невидимый, и лица его почти никто не запомнил, некто Третий, в обязанности которого входило все слушать, запоминать и докладывать выше. Он, Третий, уважал свою работу и даром есть хлеб не хотел: и донос пошел своим ходом.

Собственно, смерть Клятову после того, что он видел, а в особенности после того, что узнал, теперь казалась ничтожной и пустяшной, хотя было и немного тревожно и холодило в груди.

Он шел легко. Хорошо было, что у него не было ни жены, ни детей, как у Дубровского, который выпрыгнул на палубу и пытался выброситься в море, узнав, что погибла «Вирония», хорошо, что он рано очутился в детдоме, где партия взяла его на воспитание в свои твердые руки. Лишь иногда в снах вставало женское лицо, и он понимал, что это мать,

и просыпался в слезах. Ничего, скоро они встретятся, и она все расскажет. Он думал о том, что смерть — это избавление, это что-то хорошее, светлое, а вовсе не тьма, которой ее привыкли воображать.

Вверху вдруг что-то зацокало.

— Белка!!! — с восторгом крикнул Клятов конвоирам, полуобернувшись, и приостановился. Ему захотелось порадоваться с ними, передать свой восторг хоть кому-нибудь этим простым существом.

Маленькая белочка сидела над ними на сосновой ветви, задрал серый пушистый хвост дымком, и бойко грызла сосновую шишку, зажатую в передних лапках, держа на прицеле черного зоркого глазка нескладных двуногих существ внизу.

Солдаты немного смутились и приостановились, а бдительный особист тут же расстегнул кобуру, дабы предотвратить возможный назревающий побег.

— Иди, иди, — толкнул Клятова он в спину.

Вот и яма. Куча вывернутого из глубины сырого рыжего песка. Все выглядело как-то глупо и не по-настоящему, не могло быть это по-настоящему — и эти солдаты со звездами на пилотках, и особист в фуражке, расстегивающий планшет с приговором. Как тогда, происходящее на сцене русского театра в Таллине, куда Клятов однажды повел Вильму на «Гамлета». Он почему-то представил себе, что все эти шекспировские герои и героини, добрые и злодеи, живые и мертвые, отравленные и заколотые, смывают грим после спектакля, достанут припасенную бутылку водки, нехитрую закуску и засядут все вместе за веселый театральный капустник — и Гамлет, и Полоний, и Офелия, и Гертруда с узурпатором, и даже призрак отца Гамлета... А рядом сидела Вильма, и глаза у нее были такие светлые и холодные, что становилось жарко от желания во что бы то ни стало растопить эту холодность, хоть слезинку выдавить, и прощаясь, он так сильно сжал ее, что она шлепнула его по руке и вырвалась: «Сумасшедший! Все русские сумасшедшие!» — быстро поцеловала его в щеку и исчезла за дверью. Так ничего у него с Вильмой и не было. Потом закрутилась эвакуация, немцы подходили к самой Пирите, и кто-то вдруг сказал, что Вильма то ли работала на немцев, то ли входила в кайселит. И несмотря на бешеный темп работы, он все же выкроил минут сорок и сбегал в город. На стук в знакомую дверь ему открыла пожилая эстонка с такими же светлыми, как у Вильмы, но окруженными морщинами глазами. На вопрос о Вильме она только сказала:

— Вильмы больше нетт, — и замолчала. — Вильмы больше нетт, — повторила сурово она на все его попытки что-то прояснить и, вытянув

руку ко входу, сказала величественно и твердо: — Никогда, никогда не возвращайтесь в этот горотт...

Клятов стоял спиной к конвоирам и смотрел на бронзово-золотые шершавые стволы, за которыми голубело прохладное, как глаза Вильмы, море.

«...Именем рабочего класса и трудового крестьянства страны советов... за проявленную панику, трусость, малодушие, несовместимые с высоким званием офицера-краснофлотца, за клеветнические высказывания в адрес руководства краснознаменного балтийского флота, наносящие прямой вред флоту, стране и обороне, за изменнические настроения перед лицом злейшего противника в условиях военного времени ...

Клятов Григорий Петрович лишается всех званий и наград и приговаривается к высшей мере наказания через расстрел!

Приговор обжалованию не подлежит...»

Клятов слышал, как в сосновом шуме лязгнули затворы винтовок. Как это все глупо казалось, не по-настоящему... Ему казалось, если им рассказать, как все это глупо, они обязательно поймут, не смогут не понять, только вот незадача — времени мало, а они спешат, им бы поскорее покончить с неприятной необходимостью... Мужики-то хорошие — только спешат... Неужели они сами не могут понять? Какие они смешные в своей серьезности, как дети... насколько он сейчас мудрее их! Если бы у них было время, он объяснил... Они бы поняли, что это всего лишь выдуманная людьми игра, а никакая игра не стоит ни единой человеческой жизни. Он, наверное, все же смог бы им объяснить, только времени уже, конечно, не хватит. Если бы было одно какое-то слово, которое может все объяснить, оно, конечно, есть, он его знает, конечно, но вспомнить не может — там, куда он уйдет, он его сразу вспомнит...

Боже, какая глу...

Маменькин сынок

И бездна нам обнажена

С своими страхами и мглами,

И нет преград меж ей и нами —

Вот отчего нам ночь страшна!

Ф. Тютчев.

Густо усеянный звездами небосвод над морем.

Полоса пены вдоль стального борта прогулочного теплоходика. Такой чистой, будто сияющий изнутри белизны Арт за все свои двенадцать лет никогда и нигде не видел: ни в облаках, ни в снеге, ни в лепестках ландышей. Он не мог оторвать взгляд от чудесного кипения, вращения кружев, рассыпающихся бесчисленными высшей пробы алмазами, и от этой непрерывной гибели-созидания все новой и новой мгновенной красоты, которая никем никогда запечатлена не будет, сердце горько и сладко изнывало.

— Тоша! — позвала мама, подарившая ему эту двухчасовую прогулку в сторону открытого моря. Он подошел к ней, тронув ее теплую руку. Она улыбалась в полутьме, радуясь вместе с ним.

Палуба была сыра, лицо ощущало свежесть водяной пыли, и время от времени он облизывал приятно солоноватые губы.

Звезды казались влажными и зеленоватыми. Пассажиры весело переговаривались, пробежали шалящие дети, их окликали...

— А это Полярная звезда!.. А это Большая Медведица... — говорили рядом.

Они с мамой тоже, кажется, разглядели Полярную звезду и даже ковш Большой Медведицы, похожий на ковшик, которым в магазине «Молоко» черпали из бидонов. Полнеба пересекала гигантская полоса звездной пыли.

— А это Млечный Путь, — сказала мама. Арт сидел рядом с ней. Слегка покачивало...

— Мама, я обязательно буду моряком, — в который раз сказал Арт.

— Конечно, конечно, — не слишком довольна ответила мама.

Теплоход разворачивался к берегу, где сверкали цепочкой огни Анапы.

Несмотря на темноту, довольно быстро нашли дорогу домой — минут за 15 добрались до пятиэтажки, где снимали две койки в однокомнатной квартире на третьем этаже. В этой же комнате спала и хозяйка, маленькая худенькая женщина, болеющая чем-то сердечным, на улицу она почти не выходила. А муж ее Адик ночевал на кухне. Был он лет на десять младше хозяйки — рослый, гладкий, со светлыми глазами пятиклассника-второгодника. Знакомясь, с гордостью сообщил свое полное имя — Адольф. Адольф целыми днями болтался где-то в городе, всегда в одной и той же униформе и для улицы, и дома — синяя майка на голое тело, потертые брюки и штиблеты на босу ногу (благо, климат позволял). Нет, никак к нему не подходило чопорное и иностранное Адольф — Адик он и есть Адик.

Сегодня Артур вдруг захотел спать на балконе.

— Ночью у нас бывает холодно, — предупредила хозяйка, однако Артур настаивал, и хозяйка сказала Адику, чтобы тот вынес на балкон раскладушку и застелил.

— Ну, если станет холодно, — возвращайся в комнату, — сказала мама.

Артур лежал на раскладушке, укрывшись тонким одеялом, чувствуя приятную истому в теле. Над головой все то же небо россыпями звезд сияло.

Анапа им с мамой не слишком понравилась, не то что Коктебель в прошлом году (вот где был настоящий рай!). А здесь пыльный невзрачный городок с подходящими к нему лысыми выжженными холмами, грязным зеленым морем, грязным сероватым песком пляжа, замусоренным никем не убираемыми окурками и вишневыми косточками, тут и там, если копнуть, тянулись чьи-то волосы.

— Ах, какой здесь был песок, — удивлялась грустно мама, — когда мы еще до тебя здесь с папой были — золотистый, шелковый! И людей почти не было...

Но, тем не менее, здесь был все же не серый гнетущий Новотрубинск с его фабриками и заводами, непрерывно извергающими в небеса дымы — темно-серые, светло-серые, желтоватые... Здесь не было постылой скучной школы и страха двойки или тройки по неприступной математике, страха старшеклассников-акселератов, норовящих с хохотом отвесить неожиданный оглушающий подзатыльник или обжигающую унижительную пощечину.

А главное, здесь не было страха домашних скандалов, которые устраивал пьяный отец по пятницам, вернувшись с работы.

— Я его ударю! — вскипал Арт, слышав знакомые пьяные завывания сквозь тонкую стенку, но мама не пускала, хватая его сжатые в кулачки руки:

— Не надо... не надо... ради меня!

Ради нее он мог сделать все что угодно и терпел, уткнувшись лицом в подушку, в темноту, рассыпающимися искрами ярости, дрожа от ненависти, выжигающей изнутри сердце, перегорая, впадая в апатию и безразличие. Руки и ноги становились ватными, бессильными, а душа, будто брезгливо отстранясь, отлетала куда-то далеко-далеко, оставляя лишь железистый привкус во рту, и оттуда, из стерильного далека, с легким презрением взирала на земное.

— Ты плакал? — говорила она, возвращаясь. — Ну не надо из-за таких пустяков! Все будет хорошо, — брала его за руку, улыбалась, и он чувствовал ни с чем не сравнимое блаженство.

Иногда они с мамой уходили ночевать к соседям, а иногда через шоссе в лес и, переждав, пока отец утомится и заснет, возвращались. Как было последний раз этим летом перед отъездом на юг.

Волнистые лесные дали голубели. Отсюда, говорила мама, начинаются дремучие брянские леса. Они прошли «елочки», посадку молодых, только до пояса доходящих сосенок, «дубки» — дубраву, в которой дуплистые вековые дубы стояли, крепко вцепившись лапами корней в землю, поодаль друг от друга, думы думали. Потом песчаная дорожка вела их по изогнутому краю густого пушисто-игольчатого возросшего до отрочества сосняка, а ветви начинались, почти от земли, укорачиваясь кверху, образуя мохнатую пирамидку с острой верхушкой, — бодро указующей в небо последней веткой, а слева от дорожки, не выше пояса, будто кустарник, сплетенные, в детской возне, боролись крепенькими ветками низкорослые молодые дубки, блестящие лаковыми резными листьями. И золотисто-красное солнце купалось в медово-молочном сиропе неба.

Они изливали друг другу печаль, строили планы на будущее, шутили, обретая такое душевное единство, которого он никогда ни с кем не ощутит.

Красное солнце прикасалось к верхушкам деревьев, дышалось легко, пахло хвоей и лиственной влагой.

— Как прекрасна жизнь, — говорила мама, глядя на закат, — и только человек сам ее портит.

— Мам, а ты разведись с ним, — просил он, но мама почему-то молчала.

Ах, как хотелось ему поскорее вырасти, стать сильным, смелым, независимым и справедливым, совсем как герои книг Жюль Верна и Джека Лондона, которые он поглощал запоем. И не получать в школе подзатыльники от шпаны, а одним ударом сваливать обидчика — вот это была мечта, вот это кратчайший путь справедливости!

И тем не менее в Анапе была свобода, свобода от страхов, рожденных серым враждебным городом, и здесь было море, которое лепило его маленькие мышцы, ускоряя приближение к взрослому будущему.

Арт закрыл глаза. Сон не шел. Он раскрыл глаза, в которые глянули миллионы звезд. Здесь они были сухие, и их было так много, что они вот-вот одолеют тьму и станет светло как днем, но между ними просачивалась чернота и заполняла невыразимой тоской незащищенное

коростой быта и не опьяненное вождением по иному полу маленькое сердце. Это была знакомая тьма, просочившаяся из темной соседней комнаты совсем раннего детства, куда они с девочками боялись войти. Но он преодолел себя и вошел с колотящимся сердцем и выкрикнул: «Да здесь совсем не страшно, идите сюда, идите!» Но они не шли, боялись, и ему стало весело от их страха и своей смелости. Но та тьма, оказывается, вовсе не была побеждена, а лишь отодвинулась, превратив эти звезды в зыбучие пески, и он вновь почувствовал забытую слабость, незащитность и бессилие.

— Все люди умрут, а они будут так же светить... значит и мама... И ведь ЭТО вот-вот может случиться! И неужели он сможет это пережить? А потом ходить улыбаться, радоваться чему-то? — и в этом была такая несправедливость, такая пошлость, что глаза стали невольно наполняться слезами и капля заскользила по щеке.

Он и не знал, что то были последние слезы в его жизни.

Прислушался. Из комнаты через открытую балконную дверь доносился спокойный голос мамы, что-то обсуждающей с хозяйкой, — спасительная ниточка, не дающая упасть в это пространство зыбучего песка забвения.

Вытерев слезы, тихо встал и вошел в согретую людьми комнату, тихо бежал от беспощадной и безразличной красоты.

— Ну что, замерз? — спросила мама.

— Нет, — ответил он. — Там не спится что-то.

— И фрукты в этом году дороже, чем в прошлом, — сказала хозяйка, продолжая тему.

— Да, — сказала мама, — и песок не тот, что был...

— С каждым годом все хуже, — подтвердила хозяйка. — А вы поезжайте на Бимлюк — вот где песок еще совсем чистый, — это через залив, на катере.

Стукач

Витька, Витька, где твоя улыбка?

Не видно развеселого толстеного Витьки, не слышно его мальчишески задорного, странного для столь грузного тела голоса. Канул в море житейской суеты луноликий друг. А ведь было... Были длинные задушевные беседы за бутылкой коньяка или банкой отличнейшего качества самогонной Витькиного подпольного производства водки, настоящей на апельсиновых корках. И нередко вечера не хватало,

чтобы наговориться, и засиживались до двух ночи, когда глаза начинали сами собой слипаться, а язык вязнуть. Когда это было, где?.. — Кажется не меньше ста лет назад, а прошли годы... кажется в другой стране... а ведь и вправду в другой!.. Было это в стране чудес, только чудеса в ней были какого-то угрюмого, трагикомического свойства. Существовала в этой стране своя абсурдная античеловеческая режиссура, с утратой которой, однако, все стало погружаться в не менее античеловечный первобытный хаос.

Семнадцать лет назад сидели мы вместе: я, Витька, его первая жена Мышка (так я звал ее про себя, потому что она и в самом деле была маленькая, с темными бусинками глаз, а на фоне огромного круглого Витьки казалась вообще крошечной), готовились к госэкзаменам, без пяти минут врачи, — зубрили «Научный коммунизм». Помню даже вопрос из билетов, на котором мы остановились: «Критика теории конвергенции». Таких вопросов по критике различных «буржуазных» теорий было много. Самих теорий мы прочесть не могли, поскольку они относились к запрещенной литературе, за хранение которой можно было и срок схлопотать, разве две-три маловразумительные фразы из учебника. Уникальность была в том, что требовалось исхитриться и критиковать то, что ты сам не знаешь. Более или менее внятно о них рассказывали лишь иногда некоторые преподаватели из числа наиболее одиозных (кстати, было явно заметно, что изложение этих теорий им явно доставляло гораздо большее удовольствие, чем их критика). Но и это было все в пересказе, переложении, а как хотелось вкусить запретный плод самому!.. А тут нам случайно попался полузапрещенный журнал «Америка» со статьей, в которой как раз и излагались основы этой теории (по ней выходило, что со временем социализм приобретает черты капитализма, а социализм неизбежно будет вынужден отступить от своих жестких принципов, что может привести к их слиянию). И настолько ясной и понятной была статья, настолько мутным, суконным и бранным был язык соответствующего раздела учебника, что становилось до боли очевидным, как нас нагло обманывают, и Витька то и дело вскакивал, бешено матерился и запускать учебник в стену. Учебник падал за диван, Мышка доставала его оттуда, и мы продолжали зубрить.

Сквозь злобную ахинею «учебного» пособия с упорством паранойяльного бреда доносилось обещание «светлого коммунистического будущего», в которое мы уже давно не верили, но вот этого на экзаменах ни в коем случае показывать было нельзя, иначе не видать тебе врачебного диплома вовеки. Верили зато мы, что социализм, в котором жили — это очень надолго (если только ядерная война не бабахнет и не уничтожит вообще всю землю), уж никак

не меньше, чем на два-три поколения после нас; настолько мощной и несокрушимой казалась эта система, что всерьез предположить случившееся с нашей страной мог тогда лишь клинический идиот.

— Но ведь задумка-то хорошая! — всплеснув тоненькими ручками, время от времени повторяла Мышка.

— Задумка-то хорошая, да во что ее превратили! — в голос ей восклицал Витька.

Я вяло соглашался, хотя уже сильно сомневался и в самой «задумке»: однажды меня поразила мысль, что за правдивое слово у нас могут карать более жестоко, чем за убийство человека, и с тех пор я ее неотступно внутренне созерцал. Это сделанное еще до выпускных экзаменов простое открытие заслонило все умствования, все доводы и контрдоводы. Меня, правда, как видно, не убили, не посадили и даже не выгнали из института. Следуя советам отца, не понаслышке знавшем об опасности разговоров о политике, о «черных воронках» и лагерях, я старался таких разговоров избегать (хотя становилось это почему-то все труднее и труднее), и даже с Витькой и Мышкой предпочитал не раскрываться до конца.

И все-таки, несмотря на меры предосторожности, был момент, когда показалось: дохнуло холодком с Колымы, я приблизился к краю, правда, не заглянув за него, но в памяти осталась издевательская усмешка судьбы, чувство абсурдности режиссуры.

И будто из серого тумана прошлого выплывает фигура студента Дурова. Вот он идет своей мягкой крадущейся поступью, рослый, атлетически сложенный, в рубашке хаки с нагрудными карманами, слегка наклоняя вперед туловище и свесив тяжелые длинные руки. Не насторожила меня тогда ни эта походочка гориллы, ни близко посаженные темные глаза, всегда каким-то образом глядящие исподлобья, даже на тех, кто ростом ниже, ни странно маленький подбородок, особенно в сравнении с лошадиным выступом носа... Все это отметились гораздо позже, а поначалу я увидел здорового простого парня с добродушным малорусским юмором (он был из Харькова). Впрочем, мой новый друг вовсе не давал мне повода плохо о нем думать, а прогуливать на пару скучные лекции было веселей. И общаться с ним было необыкновенно легко. Казалось, вот она простота и сила народная, о которой, как несомненных признаках хорошего человека, нам уши прожужжала учительница литературы в школе. Суждения его были и в самом деле просты, никакой интеллигентской зауми, а в некотором их прямолинейном цинизме виделся лишь признак мужественности. Улыбка (со временем все более превращавшаяся в ухмылку) обнажала крепкие полировано гладкие желтые зубы. Единственное, что мне в нем

сразу не понравилось, — длинные волосы в сочетании с безбородым и безусым лицом, придававшие облику нечто бабье (впрочем, женщинам он нравился).

Теперь подозреваю, почему мне было легко: его склонность все упрощать каким-то образом упрощала и мне жизнь, отводила многие сомнения в себе и окружающем.

И тут возникает толстый учебник органической химии, который я потерял, забыл в аудитории. Студенты, терявшие учебники, обычно вывешивали в раздевалке объявления с просьбой вернуть их, указывая свои имя, фамилию и курс. Так же решил сделать и я. Но тут мне вдруг захотелось отличиться, сочинить такое объявление, чтобы мимо него не смог пройти ни один студент, чтобы и книгу вернули и весь институт хохотал.

Мы сидели с Дуровым на какой-то лекции, на галерке: я изобретал объявление, а Дуров точными штрихами, не спеша, изображал сцену изнасилования. Не в пример другим, неумело нацарапанным на столах кабинетов и на стенах туалетов произведениям мучающихся эротическими галлюцинациями студентов, получалась картинка еще более мерзкая именно вследствие своего довольно талантливого исполнения, однако, я уже научился тогда автоматически подавлять в себе возникающее отвращение, отбрасывать от себя неприятное, не входящее в образ человека, мною уже созданный, как нечто случайное, для него не характерное.

Итак, я сочинял объявление. Для начала на всем листе бумаги с помощью красного шарика расположил след окровавленной пятерни и потом крупными буквами написал обычный текст с просьбой вернуть учебник и своими данными. Некоторое время я с удовольствием созерцал законченную работу, и тут Дуров вдруг сказал: «А снизу подпиши: за это обещаю отменить крепостное право!» Идея мне показалась смешной и, недолго думая, я подмахнул фразу ниже текста. Уже когда крепил объявление на стене раздевалки, кольнуло нехорошее предчувствие. Смутно понимал, что шутка более глупая, чем смешная, и, к облегчению, на следующий день объявление из раздевалки исчезло.

Постепенно вокруг нас с Дуровым в группе стал ощущаться некий вакуум: кроме меня у Дурова друзей не образовалось, а вот я с ребятами был в хороших отношениях, и тут вдруг почувствовал какое-то непонятное ко мне охлаждение. Наконец одна из девчонок, Наталья Шарапова, мне как-то сказала напрямую: «А ты разве не знаешь, что Дуров стукач?» — Я только рассмеялся в ответ, настолько невероятным это показалось — мой друг и стукач!.. Однако сказанное запало: оказалось уже шло подсознательное накопление каких-то фактов,

фактиков, оговорок... И тут я решил пойти напрямую, взять Дурова, как говорят, на пушку, хотя на 90 процентов верил, что ошибусь, надеялся...

Шла первая половина лекции по физиологии. Как обычно мы с Дуровым сидели на задних рядах, поближе к выходу. Без лишних слов я заявил в лоб, что мне мол достоверно известно, чем он занимается. Все-таки жизнь любопытна именно своей непредсказуемостью. Я ожидал любой реакции: удивление, смех, гневное отрицание и даже откровенное признание, подкрепленное теорией собственной исключительности... Все случилось по-другому. Дуров медленно вытащил из кармана кожаный бумажник, раскрыл его, вытащил зеленую трешку и, протягивая, тихо и внятно молвил: «За сведения!»

До сих пор помню эту сцену — лопатообразную лапу с зеленой трешкой (три обеда в институтской столовой), в которую Дуров оценил мою дружбу. Все происходящее вдруг показалось в этот миг дурацким сном, и от четкого осознания, что тем не менее это реальность, во рту пересохло. Я даже ничего не ответил, лишь, кажется, не мог сдержаться от презрительной улыбочки. Зеленая бумажка, поколебавшись в пространстве, исчезла там, откуда появилась.

— А у меня на тебя есть данные... — уже с явной угрозой сказал Дуров, вновь касаясь бумажника, и я увидел, что из кожаного кармашка выступает белый край сложенного листа клетчатой бумаги, и тут сразу же все связалось: совет Дурова приписать фразу в объявлении, его быстрое исчезновение из раздевалки и, самое главное — содержание: «...Обещаю отменить крепостное право...»!

Какой же я дурак, ведь при желании этим словам можно придать политическую окраску: здесь же явный намек на одно из главных «достижений» социализма — колхозный строй! И поди объясни там, что ты этого вовсе не имел в виду, что ты вообще ничего не имел в виду! А ведь и вправду не считалось бы это такой уж крамолой, если бы не было столько сходства и правды! От отца я слышал, что за подобные шутки, за политические анекдоты, случайные оговорки при Сталине людей отправляли в лагеря и на расстрел... «И сейчас ничего не изменилось...» — не уставал повторять он, видимо, желая как можно надежнее застраховать меня от подобных случайностей. И вот, ирония судьбы: это случилось, будто подтверждая правильность мнения, что случается именно то, чего больше всего боишься. Конечно, это была та самая бумажка! У меня даже дух перехватило. Смотреть на Дурова я больше не мог и, ни слова не говоря, достал тетрадь и стал записывать лекцию, сначала не вполне понимая, о чем говорит лектор, но постепенно постигая смысл, почувствовал странное облегчение.

И хотя я чувствовал, что сейчас все-таки иные времена и за подобное в тюрьму не отправят, но казалось вполне вероятным быть вытолкнутым из института с пожизненным волчьим билетом, и это было бы не менее страшной катастрофой, чем тюрьма, о том, как это подействует на родителей, думать было вообще выше моих сил. Я видел уже папку с заведенным на меня делом в небезызвестной комнате номер восемь — институтском «спецотделе».

О комнате номер восемь предпочитали не распространяться. И сама она располагалась как-то незаметно и, в то же время, в самом центре здания: на втором этаже под аудиторией. Точнее, там было несколько комнат за одной дверью: военно-учетный стол и еще что-то непонятное; курировал весь этот отдел высокий лысоватый генерал КГБ в отставке, голоса которого я ни разу не слышал, хотя время от времени его задумчивый лик встречался на институтской лестнице. Когда его безразличные, ничего не выражающие глаза проходили по мне, у меня появлялось ощущение, что он знает меня и по каким-то вторичным признакам выделяет как неблагонадежного, инакомыслящего. Однажды я случайно увидел, как из этой комнаты выбежал один из наших главных комсомольских боссов, молодой «перспективный» ученый, преподаватель. Пожалуй, я еще не видел столь откровенного ужаса на человеческом лице: оно было мокрым от пота, будто голову окунали в воду. Поразительно был видеть такое выражение у всегда благополучного на людях, уверенного в себе человека. Не видя в первый миг вокруг себя никого и ничего, комсомольский работник, стоя на лестничной клетке, судорожно утирал пот со лба и автоматически, как заводной, загребал и загребал рукой назад свою курчавую шевелюру.

Будто кто-то рассудочный вкрадчиво нашептывал мне, что с Дуровым надо быть осторожнее, возможно, даже не рвать резко (мало ли что может наговорить на меня, озлившись), а отходить постепенно, сделав вид, что ничего не произошло. Но я не мог преодолеть эмоций, разом вытолкнув его из себя, как рвотную массу. Сразу же после перерыва, на второй половине лекции я пересел от Дурова на передние ряды и принялся вновь, как когда-то, внимательно записывать лекцию. С того момента общение наше оборвалось резко и навсегда: встречаясь на занятиях, мы лишь здоровались друг с другом, но больше — ни слова.

К тому же виделись мы все реже и реже: Дуров безбожно прогуливал занятия и лекции. Я же на лекциях теперь сидел не позади, где все же изредка появлялся Дуров, а в первых рядах, где он не показывался никогда, и старался ловить каждое слово преподавателя.

Это не осталось незамеченным, и буквально через несколько дней на лестничной клетке меня окружили ребята и девчонки из нашей группы и принялись поздравлять, пожимать руку. А один из ребят, боксер Вова Веревкин сказал: «Ты, Палыч, совершил мужественный поступок!» Мне было приятно вернуть себе нормальное расположение группы, хотя ничего необыкновенного в своем поступке я не видел. Правда, было немного обидно, что я, как оказалось, узнал, кто такой Дуров, последним.

— А вы как догадались? — спрашивал я.

— Вычислили! — радостно со смехом кричал толстый Витька.

— Вычислили! В каждой группе есть стукач!

Впрочем, Дуров больше меня не трогал, не пытался шантажировать. Злобности в нем не было, для нее он был слишком ленив, и лень эту легко можно было спутать с добродушием.

Вообще ему нравилось изображать из себя какого-то разведчика, агента 007. Держался он по отношению к другим высокомерно, напускал на себя таинственный вид, стал ходить на занятия в темных очках... Группа платила откровенным презрением и насмешками.

— А-а, вот и Ду-у-уров! — с преувеличенным почтением, переходящим в многозначительную издевку, тянул всякий раз, церемонно здороваясь с ним за руку, Витька. Витька не боялся издеваться над стукачом — его отец был крупной шишкой в системе госбезопасности.

А однажды наши девчонки перед занятием бесстрашно Дурова атаковали, разом насели, тюкать принялись наперебой:

— Да уж мы знаем, что ты представляешь из себя, знаем-знаем!..

А Наталья Шарапова прямо заявила:

— Да кто ты такой?! Ты вообще НИКТО!

Тут Дуров озлился, бабье лицо его скривилось, приобрело щучье выражение, и сказал с угрозой в голосе:

— У вас могут быть неприятности, я вам не советую продолжать!

— и поджал губы.

Девчонки сразу замолкли, лишь Наталья Шарапова презрительно усмехнулась.

С тех пор Дурова в группе вообще как бы перестали замечать. Лишь Витька по-прежнему всякий раз церемонно-издевательски с ним здоровался: «А вот и Ду-у-уров!» На «здрасьте» и «привет» его общение

с однокашниками теперь начиналось и заканчивалось. Вроде и был человек в группе, и одновременно не было его.

Учился он едва ли не хуже всех, все чаще прогуливал лекции и занятия, и к концу учебного года вышел на отчисление из института. Спас его родной дядя, профессор, который, как оказалось, работал в институтской администрации: Дуров ушел в академический отпуск. Наша группа от него, слава Богу, избавилась. Видели его пару раз случайно, года через полтора-два, потом он исчез совершенно, вполне может статься, так и не осилив институтского курса. Думаю, что сексотом его сделали не злость и уж во всяком случае не политические убеждения, а именно лень в сочетании с какой-то врожденной аномалией. А его теория собственной исключительности, его «мне все позволено!» была крайней точкой конформизма, готовности принять любую форму, лишь бы не совершать усилий — умственных, физических, душевных... Лень эту усугубляло полное отсутствие интересов, увлечений, за исключением интересов к шикарной жизни (знание которой было главным образом почерпнуто из иностранных фильмов), к девочкам и шмоткам — интересов павиана и павлина. А тут можно было не напрягаясь получать ежемесячное пособие, превышающее, как говорили, размер стипендии, которую прочие зарабатывали лишь упорными занятиями, не имея троек на экзаменах. Но, видно, Дуров был настолько ленив, что ему не помогла ни охранный грамота стукачества, ни дядюшка профессор.

О врожденной аномалии я упомянул не случайно. Встречаются в жизни иногда, даже в совершенно различных национальностях, необыкновенно похожие друг на друга люди, своеобразные архетипы человеческие, сходные внешне, физически, даже своими повадками — манерой двигаться, говорить... В жизни я потом дважды встречал людей, внешне необыкновенно похожих на Дурова, — в обоих случаях это были люди непорядочные, темные. Первый близнец стукача делал успешную карьеру на московском радио, выливая за рубеж потоки лжи о счастливой жизни в Советском Союзе. Сходство его с Дуровым было потрясающим, до деталей: та же мягкая поступь, крупное туловище, близко посаженные карие глаза, лошадиный нос и маленький подбородок, даже стрижка горшочком, с волосами, прикрывающими невысокий лоб, отчего он казался еще более узким. Поначалу я подумал, было, что это и есть Дуров, сменивший фамилию, переквалифицировавшийся, сделавший другую, немедицинскую карьеру.

Второй был тоже очень на него похож лицом, но телом помельче и пожестче. В компании, где я его встретил, он с увлечением

рассказывал о том, как действуют разрывные пули в человеческом организме (позже он сел в тюрьму за злостное хулиганство).

Впрочем, мне бы не хотелось думать, что человеческие свойства полностью определяются внешностью, — жизнь сложнее! — и думаю, наверняка где-то существует вполне человеческий порядочный вариант Дурова.

А экзамен по «научному коммунизму», лжепредмету, порождением которого был Дуров, мы с Витькой и Мышкой сдали на хорошо и отлично. И каждые полгода в институте мы сдавали экзамены по политическим предметам успешно. И самый главный экзамен по научному коммунизму по окончании института сдали. Проклинали, что приходится врать, но сдали, и думали: «Ну это уж в последний раз!..» Однако мы опять-таки ошибались.

1995 г.

Соучастники

На Кутузовском проспекте Триумфальная арка с ее обильным декоративным обликом — Квадригой, вздыбившимися конями, рыцарями со щитами и мечами среди гигантских голых коробок жилых монстров кажется игрушкой, как и вся русская история до 17-го года, с которого полагалось начать совершенно новую человечеством невиданную «подлинную» историю. Но та, «подлинная» история, через семьдесят с небольшим лет рухнула — не от внешнего нашествия, не от революции, а под тяжестью ставшего невыносимым собственного вранья и неисполненных обещаний.

Вот в одну из таких коробок, году в 93-м, у меня был вызов, когда я работал врачом, помогая консультациями бывшим репрессированным, отсидевшим в лагерях, старушкам и старичкам (ведь бегущему как на скачках участковому врачу часто бывает некогда разъяснить действие назначенного лекарства, а пожилой человек не все может понять из его объяснений — вот на такие случаи я).

Звонок в дверь. Открывает согнутая в крючок старушка, чистая Баба-Яга из сказки, но Баба-Яга с добрыми и светлыми глазами. Старушке девяносто лет, фамилия ее — Щеглова. Она повела меня в свою комнату коммунальной квартиры, но в коридоре ее так шатнуло, что я кинулся, было, помочь, но она восстановила равновесие. «Ходить трудно», — лишь молвила виновато. Слева в открытую дверь виднелась плита — кухня. Туда проследовали, не удостоив нас взглядом, сначала молодая женщина в домашнем халате, затем молодой интеллигентного вида

брюнет в легком синем с пестрой декоративной полосой свитере. Их удаляющиеся в проем кухонной двери спины будто заявляли: «МЕШАЕТЕ!»...

Довольно просторная комната со старыми фотографиями, нехитрым скарбом, антиквариатом на полпути к праху. С большой черно-белой фотографии на стене из далеких лет смотрит умными глазами красавица — это ОНА!!! Полвека назад. Не осталось у Щегловой никого: всех родных и друзей пережила.

— Умирать надо, доктор, зажились... так тяжело ходить... а все никак...

— Вот видите, — сказала она, садясь за стол, — чуть прошлась, а уже одышка...

Я попросил ее встать, снять халатик и принялся простукивать и прослушивать эти живые мощи, более напоминающие египетскую мумию, и с удивлением увидел на горбу старушки десятки длинных параллельных ссадин, будто от многохвостой плетки с крючками...

— Откуда это у вас?

— А это соседскому коту понравилось на меня карабкаться. А гнать его, знаете, не хочется... Все же живое существо.

Ее сильнейшая слабость, оказалась, не была следствием одной лишь старости — крайне редкий пульс был результатом передозировки дигоксина, который Щеглова принимала без контроля со стороны забывшего проконтролировать ее участкового врача в течение месяца. Участкового врача не хочу судить — они всегда как загнанные лошади — до сорока вызовов в день бывает! Ничего, после отмены мною препарата Щеглова почувствует себя лучше.

Удивительно, но мыслила старушка легко и ясно, речь без ежеминутных пауз, не было забывчивости слов и событий, частых в ее возрасте.

— Мой отец с Чеховым учился, доктор Щеглов, хотите, покажу выпускной альбом?

И вот огромный, тяжелый и ветхий альбом на столе. Страницы проложены шуршащей папиросной бумагой. 1887 год! — более века назад... Пожелтевшие колонны, фотографии выпускников, колонное здание Московского Университета... С овальных фото смотрят лица. Боже мой, какие они осмысленные, мужественные, благородные! Не мальчики, какими мы казались по окончании советского вуза — мужи! Каждый со своим характером, почти в каждом нечто львиное... Надежностью и уверенностью от них веет. Да неужто они были?! — земские врачи, подвижники, ученые... Значит, была ТА Россия! А вот и Антон Павлович

(львиного в нем ни капли!) — совсем такой, каким мы его знаем — пенсне, борода... А через страницу доктор Щеглов: раздвоенная светлая борода, свежее лицо, светлые глаза смотрят спокойно, независимо, горделиво. Такие глаза советская власть не прощала. В тридцатых годах Щеглова расстреляли как «врага народа». А два родных брата старушки погибли еще раньше — в первую мировую, «германскую» войну.

«...А следователь меня на допросе побил немножко, и выпадение матки у меня с тех пор — родить не могла: так моя личная жизнь и не получилась», — говорила она обыденно, без зла, и вспомнились мордастые старухи в транспорте и очередях, их злобное: «Сталина бы сейчас!»

А сколько же таких, как Щеглова, молчаливых и невинных жертв, которым уже не по силам и голос поднять, больных, одиноких, а сколько в земле — не счесть... Сколько их, навсегда смолчавшихся! Счет на десятки миллионов...

Но потомки — это не только те, кто расстреливал и охранял «зоны», это и потомки тех, кто детям ничего не рассказывал из страха за их судьбу, те, кто отказывался от родителей, мужей, жен, и наглухо забивали сундуки памяти, чтобы спастись... и канула память навечно о тех невинных, проклятых и убитых. Система забвения, секретности и страха победила! Власть повязала общество в преступлениях. Может, потому и ходит наше поколение спокойно мимо бесчисленных памятников Ленину по России, ибо оно или предыдущее невольно или вольно соучаствовало?..

Призрак поднимается над Россией и нашептывает по ночам... А днем учительница истории рассказывает моему сыну: «Дети! Сталин не положительный и не отрицательный, он фигура историческая, а прошлое оставим в прошлом!» — и я будто наяву вижу, как призрак усмехается в усы.

— А Гитлер? — спросил мой сын.

— Ты неправильно ставишь вопрос, мальчик! — упреждающе застучала училка карандашом по столу. — Сталин — это наша история, нельзя чернить нашу историю!

Когда Щеглова закрывала за мной дверь, в коридоре стояла, глядя на нас, молодуха в халате, и плотно сжатые губы ее заявляли: «МЕШАЕТЕ!»

Свиньи в винограднике

Был четвертый час, когда доктор с шестнадцатилетним сыном отправились на пляж. Южное солнце еще пекло вовсю, но как будто начало уставать от собственной необходимой работы. Коричневая лысина доктора блестела как обтертая кожа старых кресел в присутственных местах... — подумалось впервые сыну, в груди шевельнулась жалость, и он тотчас ее в себе подавил. Они подходили к винограднику, мимо которого проходила дорога от турбазы к морю. Ни один лист не шевелился, зеленые гроздья, покрытые пылью, казались каменными.

Под лозой распласталась, выпятив сосцы, черная свиноматка, еще пара бурых свиней и несколько куцых овечек бродили меж изрядно поредевших виноградных лоз. И, как обычно, сторож, рыжий детина в штиблетах на босу ногу, сидел у дороги в тени кизилового дерева и, не поднимая головы, читал книжку. Обычная картина, которую приходилось наблюдать каждый день и к которой никак не мог привыкнуть доктор. «Ну разве возможно было бы такое, если бы был настоящий хозяин?» — риторически вопрошал он, и Денис, его сын, удивлялся.

Но сегодня здесь появилось нечто новое: у дороги на проволоке совсем рядом с кейфующей свиноматкой висела табличка, красным по белому:

ВИНОГРАД НЕ РВАТЬ

ШТРАФ 10 РУБЛЕЙ!

— Выходит, свиньям можно есть виноград, а людям нельзя! — взорвался Денис. Схватил кусок ссохшейся земли и запустил в свинью. — А ну, вон отсюда, пшла! Сухой комок отскочил от толстой шкуры, рассыпался, взметнув батальное облачко. Свинья с визгом вскочила, однако, пробежав всего несколько шажков, только еще более углубилась в виноградник и, обиженно хрюкая, еще основательней залегла.

Денис снова схватил кусок земли.

— Да хватит тебе, — сказал отец.

— А что она виноград жрет! А мы его на рынке покупаем, — сын запустил ком в свинью, однако тот ударился о землю, подняв пыльный фонтанчик в стороне, свинья, хрюкая, лишь повела ухом, но не сдвинулась, очевидно оценив свою позицию как относительно безопасную.

— Ну хватит, пошли, — поторопил отец.

— Для чего же тут сторож, неужто он не видит? Слушай, а может, он вовсе не сторож?

— Черт его знает... — недоуменно пожал плечами отец.

Они приблизились к рыжему детине.

— Послушайте, — вежливо обратился к нему доктор, — мы вас беспокоим...

Рыжий не торопясь и с достоинством отложил книгу и, взяв лежащую рядом толстую суковатую палку, с помощью которой, очевидно, собирался выбивать штрафы, встал.

— Скажите, пожалуйста, вы сторож? — осведомился доктор.

Какое-то мгновение рыжий, опершись на палку, помедлил, будто раздумывая, стоит ли отвечать, наконец изрек со сдержанным достоинством:

— В настоящее время я сторож...

— Вы знаете, вот здесь, — сказал доктор, — свиньи виноград топчут...

— А, сколько ни гони, все равно придут, — махнув рукой, философски ответил сторож.

Едва отошли от сторожа, сын, не сдержавшись, взорвался хохотом. Рассмеялся и отец.

— В настоящее время! — захлебываясь, повторял сын сквозь смех.

— В настоящее время я сторож, а завтра Бонапарт!

— Подумать только, — смеялся отец, — вы еще, мол, обо мне услышите!

— Интересно, что он читает? — спросил сын.

— Возможно, Гегеля, — сказал отец.

— Скорее Гоголя, — предположил сын. — Хорошо бы «Ревизор»... Ну вот, разве такое было бы возможно до революции, а?

— Ладно, не скажи это еще где-нибудь...

— Так ведь я только тебе, — успокоил сын.

Они шли в направлении к «Ленину», «Славе КПСС», «Свободе», «Равенству», «Братству» — аршинным буквам белыми камнями выложенным на склоне горы над поселком.

— Хороша свобода, когда за убийство столько не сажали, сколько за слово правды... — хмыкнул сын.

— Хватит тебе, — сказал отец, — помолчи... ВСЕ страны через ЭТО должны пройти, тысяча лет пройдет, пока не поймут... И никто ничего не сможет сделать... Слово — сила, человек — ничто, пушинка, фьюить — и нету!

— Человек — это человек! — возразил, краснея, сын, чувствуя, как глупо, безоружно и по-школьному звучит это утверждение. Где-то были необходимые слова, но он их не находил.

— Видели мы таких героев, эх, видели... Тебе что, плохо живется? Мне бы так в твоём возрасте! Никогда не лезь в политику, твоё дело учиться, в институт поступать... И наукой заниматься — она подальше от всего этого. Пойми, жизнь — великое искусство сохранить себя...

— Стоит ли только ради этого жить! — усмехнулся сын, и солнце стало холоднее.

1992 г.

Шаламов

Доктор Кулыгин отложил сигарету и отхлебнул из фужера коньяку, в его татарски прищуренных глазах заплясали чертики, высокий табачно-желтый лоб заблестел сильнее, чем обычно, и боевая мефистофельская борода, казалось, заострилась.

— Да уж, мы, психоневрологи, как детективы работаем, — говорил он не без гордости, — исследуешь не просто историю болезни, но историю жизни больного, личность его, психологические нюансы, взаимоотношения с другими людьми. Докапываешься порой до того, что подчас он прячет и от самого себя. Бывает, звонят совсем незнакомые. Пришел с работы, только лег отдохнуть на диван, не успел расслабиться — дрэнь-брэнь! Ну зато и работа интересная: в человеке разобраться надо. И каких только людей и судеб не бывает!

— Вот вы говорили, что Варлама Шаламова видели, — спрашиваю я. Мы сидим в холостяцкой комнате доктора. Обнаженная женская натура из французских журналов (впрочем, без пошлости) соседствует на стенах с «Красным конем» Петрова-Водкина, портретом Ахматовой. На книжном шкафу с Достоевским и Еврипидом в первом ряду — батарея пустых бутылок из-под коньяка Курвуазье. Он на миг задумывается, вспоминая.

— Как-то вечером звонят в дверь. Открываю — двое. Здесь, спрашивают, живет доктор Кулыгин? Я он и есть, отвечаю. Пригласил зайти. Сравнительно молодые, ведут себя вежливо, представились: Морозов

и Григорянц. Чем могу служить? -Тут одного товарища нашего съездить посмотреть надо, не могли бы? Из разговора, однако, понимаю: оба сидели. Ну, потом поехали на Планерную, где лежал Шаламов, в дом престарелых. Туда его Борис Полевой устроил...

— Это от Союза писателей какой-нибудь?

— Какой там! Обычная горздравовская богадельня. Лежал он там вдвоем с умирающим стариком. В палате вонь: старик тот ходит под себя, на лице сардоническая улыбка... Пошел Григорянц, мы у открытой двери остались.

— Как он выглядел?

— Ну какой... Руки, голова дергаются, ходят ходуном — хорея Гентингтона, простыни срывает... Длинный, худой, совсем без живота... С вафельным полотенцем на шее — колымская привычка: там шарф — это жизнь, его и ночью с себя не снимают, хоть и весь во вшах, чтоб не украли. А под подушкой и в тумбочке леденцы, кусочки хлеба припрятаны — тоже лагерная привычка.

— Да, я помню его рассказы про голод — кладешь в рот кусочек хлеба и он сам растаивает, жевать не надо.

— ...Подпустил к себе только Григорянца, мне не поверил, третий — всегда стукач. Уж как его Григорянц ни уговаривал, мол, можно верить, наш человек — ни в какую: «Нет — и все!» — рукой отмахивается, а кисти широкие, жилистые — сильные...

Да тут и без осмотра диагноз на расстоянии был ясен — пляска святого Витта.

— Это старческое?

— Не только: от частых травм тоже может быть. Но все-таки больше двадцати лет лагерей и по голове били — и охрана, и уголовники... Хотя на возрастное больше похоже.

— Ему ведь было примерно семьдесят пять тогда? Поразительное здоровье, столько перенести и дожить до таких лет, это уж от природы.

— Один из тысяч выжил... Вообще-то он из породы людей выносливых — высокий, жилистый. Да повезло еще: попал работать в санчасть. На лесоповале да в золотом забое никто долго не выдерживал.

Доктор Кулыгин допил коньяк и взял в рот сигарету, без которой мог жить, лишь когда спал и ел.

— В общем, видно было, что дела его плохи. Вскоре он умер...

Летом, по пути на Камчатку, я пролетал над верховьями Индигирки и Колымы. С высоты десяти тысяч метров открывалось зеленое пространство, уходящее до далекого отсюда, с высоты, туманного горизонта, сплошь усыпанное темными пятнами, будто шкура зеленой пантеры. Отсюда вся земля воспринимается как плоская равнина, и лишь в следующий миг понимаю: темные пятна — не освещенные солнцем склоны тысяч сопок. Вот он «Зеленый прокурор», описанный Варламом Шаламовым. И надо же мне купить в аэропорту перед отлетом номер «Литературной газеты» с автобиографией Варлама Шаламова! Разворачиваю страницу — на меня прямым честным взглядом смотрит спокойное молодое лицо с твердым подбородком. Сколько же произошло всего между щелчком фотоаппарата перед юношей, еще почти ничего не знающим о своей судьбе, и мгновением, когда я развернул газету!..

«Колымские рассказы»... Короткие и страшные, каждый — как залп, взрывающий грудь. Алмазной чистоты и твердости язык. Никогда я еще не читал и, наверное, не прочту такой страшной Правды. И последние дни автора, мне показалось, своим колымским обличем заключили их цикл.

Полет продолжался. В салоне появилась стюардесса с подносом. В иллюминатор была видна все та же безбрежная, без единого признака жизни, тайга («Тайга золотая»!). Лишь вдалеке, между сопок, нарушив их монотонность, наконец блеснула тоненькой стальной змейкой уходящая в горизонт Колыма. То здесь, то там ее разрывали ослепительные солнечные вспышки.

Пассажиры угощались лимонадом.